

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Три конца



Дмитрий Мамин-Сибиряк

Три конца

«Public Domain»

1892

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Три конца / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1892

В ряду крупных произведений Мамина-Сибиряка, отображающих жизнь капиталистического Урала («Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Золото», «Хлеб»), роман «Три конца» занимает видное место. Писатель создал яркую картину заводской жизни, как она сложилась на Урале в первые пятнадцать лет после отмены крепостного права. Мамин-Сибиряк придавал роману «Три конца» большое значение, о чем свидетельствуют его неоднократные высказывания.

© Мамин-Сибиряк Д. Н., 1892

© Public Domain, 1892

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	8
III	11
IV	14
V	17
VI	20
VII	23
VIII	26
IX	29
X	32
XI	35
XII	38
XIII	41
XIV	46
XV	49
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	53
I	53
II	57
III	61
IV	65
V	69
VI	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Три конца

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В кухне господского дома Егор сидел уже давно и терпеливо ждал, когда проснется приказчик. Толстая и румяная стряпка Домнушка, гремевшая у печи ухватами, время от времени взглядывала в его сторону и думала про себя: «Настоящий медведь... Ишь как шарами-то¹ ворочает!» Она вспомнила, что сегодня среда – постный день, а Егор – кержак². На залавке между тем лежала приготовленная для щей говядина; кучер Семка в углу на лавке, подложив под деревянное корыто свои рукавицы, рубил говядину для котлет; на окне в тарелке стояло коровье масло и кринка молока, – одним словом, Домнушка почувствовала себя кругом виноватою. И в самом-то деле, эти приказчики всегда нехристями живут, да и других на грех навоят. В открытое окно кухни, выходявшее во двор, наносило табачным дымом: это караульщик Антип сидел на завалинке с своей трубкой и дремал. Чтобы сорвать на ком-нибудь собственное неловкое положение, Домнушка высунулась в окошко и закричала на старика:

– Чтой-то, Антип, задушил ты нас своей поганой трубкой!.. Шел бы в караушку али в машинную: там все табашники!

– Ну, ну... будет, кума, перестань... – ворчал антип, насасывая трубочку.

– Да я кому говорю, старый черт? – озлилась Домнушка, всей полною грудью вылезая из окна, так что где-то треснул сарафан или рубашка. – Вот ужо встанет Петр Елисеич, так я ему сейчас побегу жаловаться...

– Ступай, кума, ступай... На свой жир сперва пожалуйся, корова колмогорская!

Егор тихонько отплюнулся в уголок, – очень уж ему показалось все скверно, точно самый воздух был пропитан грехом и всяческим соблазном. Про Домнушку по заводу ходила нехорошая слава: бабенка путалась со всею господскою конюшнею. Все они, мочеганки,³ на одну статью. Рубивший говядину Семка возмущал Егора еще больше, чем Домнушка: истрепался в кучерах, а еще каких отца-матери сын... На легкую работу польстился, – ну, и руби всякую погань: Петр-то Елисеич и зайчину, как сказывают, потреблял. Раскольник с унынием обвел всю кухню глазами и остановился на лестнице, которая вела из кухни во второй этаж, прямо в столовую. На лестнице, ухватившись одною рукой за потолочину, а другою за балясник перил, стояла девочка лет семи, в розовом ситцевом платице, и улыбающимися, большим серыми глазами смотрела на него, Егора. Он сразу узнал в ней дочь Петра Елисеича, хотя раньше никогда ее и не видал.

– Домнушка, где Катря? – спрашивала девочка, косясь на смешного мужика.

– А ушла... – нехотя ответила стряпка, с особенным азартом накидываясь на работу, чтобы не упустить топившуюся печь.

– Куда ушла? – не отставала девочка с детскою навязчивостью.

– А ушла... Не приставайте, барышня, – без вас тошнехонько!

¹ Шары – глаза (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

² Кержаками на Урале, в заводах, называют старообрядцев, потому что большинство из них выходцы с р. Керженца. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

³ Мочеганами на заводах называют пришлых жителей. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

Домнушка знала, что Катря в сарайной и точит там ляды с казачком Тишкой, – каждое утро так-то с жиру бесятся... И нашла с кем время терять: Тишке никак пятнадцатый год только в доходе. Глупая эта Катря, а тут еще барышня пристаёт: куда ушла... Вон и Семка скалит зубы: тоже на Катрю заглядывается, пес, да только опасится. У Домнушки в голове зашевелилось много своих бабьих расчетов, и она машинально совала приготовленную говядину по горшкам, вытаскивала чугунок с кипятком и вообще управлялась за четверых.

– Куда ушла Катря? – капризно спрашивала девочка, топая ножкой.

В Егоре девочка узнала кержака: и по покрою кафтана, и по волосам, гладко подстриженным до бровей, от одного уха до другого, и по особому складу всего лица, – такое сердитое и скуластое лицо, с узкими темными глазками и окладистой бородой, скатавшиеся пряди которой были запрятаны под ворот рубахи из домашней пестрядины. Наверное, этот кержак ждет, когда проснется папа, а папа только напьется чаю и сейчас пойдет в завод.

– Панночка, тату проснись, – окликнула девочку Катря, наклоняясь над западней в кухню. – Тату до вас приходив у вашу комнату, а панночки нэма.

– Катря, скажи Петру Елисеичу, что его дожидает Егор из Самосадки! – крикнула Домнушка вслед убежавшей девушке. – Очень, говорит, надо повидать... давно дожидает!

«Проклятушие мочеганки! – думал Егор, не могший равнодушно слышать мочеганской речи. – Нашли тоже „пана“.»

Катря скоро вернулась и, сбежав по лестнице в кухню, задышавшимся голосом объявила:

– Пан у кабинети... просив вас до себе.

– Ступай за ней наверх, – коротко объявила Домнушка, довольная, что закоснелый кержак, наконец, выйдет из кухни и она может всласть наругаться с «шаропучим» Семкой.

Катре было лет семнадцать. Красивое смуглое лицо так и смеялось из-под кумачного платка, кокетливо надвинутого на лоб. Она посторонилась, чтобы дать Егору дорогу, и с недоумением посмотрела ему вслед своими бархатными глазами, – «кержак, а пан велел прямо в кабинет провести».

– Родной брат будет Петру-то Елисеичу... – шепнула на ухо Катре слабая на язык Домнушка. – Лет, поди, с десять не видались, а теперь вот пришел. Насчет воли допытаться пришел, – прибавила она, оглядываясь. – Эти долгоспинники хитрящие... Ничего спроста у них не делается. Настоящие выворотни!

Из этих слов Катря поняла только одно, что этот кержак родной брат Петру Елисеичу, и поэтому стояла посредине кухни с раскрытым от удивления ртом. Апрельское солнце ласково заглядывало в кухню, разбегалось игравшими зайчиками по выбеленным стенам и заставляло гореть, как жар, медную посуду, разложенную на двух полках над кухонным залавком. В открытое окно можно было разглядеть часть широкого двора, высланного деревянными половицами, привязанную к столбу гнедую лошадь и лысую голову Антипа, который давно дремал на своей завалинке вместе с лохматою собакой Султаном. Осторожно скрипнувшая дверь пропустила кудрявую голову Тишки. Он посмотрел лукавыми темными глазами на кучера Семку, на Домнушку и хотел благоразумно скрыться.

– Эй ты, выворотень, поди-ка сюды... ну, вылезай! – кричала Домнушка, становясь в боевую позицию. – Умеешь по сарайным шляться... а?.. Нету стыда-то, да и ты, Катря, хороша.

– Што подсарайная... – ворчал Тишка, стараясь принять равнодушный вид. – Петр Елисеич наказал... Потому гостей из Мурмоса ждем. Вот тебе и подсарайная!

– Нет, стыд-то у тебя где, змей?! – азартно наступала на него Домнушка и даже замахнулась деревянною скалкой. – Разе у меня глаз нет, выворотень проклятый?.. Еще материно молоко на губах не обсохло, а он девке проходу не дает...

Тишка, красивый парень, в смазных сапогах со скрипом, нерешительно переминался с ноги на ногу и смотрел исподлобья на ухмылявшегося Семку. Он решительно не испытывал никакого раскаяния и с удовольствием смазал бы Домнушку прямо по толстому рылу, если бы

не Семка. Катря стояла посредине кухни с опущенными глазами и перебирала подол своего запона. Ей было совестно и обидно, что Тишка постоянно ругается со стряпкой: Домнушка хоть и гулящая бабенка, а все-таки добрая. Первая пожалеет и первая научит, чуть что приключись.

– Дай поесть, – неожиданно проговорил Тишка, опускаясь на лавку. – С утра еще маковой росинки во рту не бывало, Домнушка.

– Ишь какой ласковый нашелся, – подзуживал Семка, заглядываясь на Катрю. – Домна, дай ему по шее, вот и будет закуска.

Кормить всю дворню было слабостью Домнушки, особенно когда с ней обращались ласково. Погрозив Тишке кулаком, она сейчас же полезла в залавок, где в чашке стояла накрошенная капуста с луком и квасом.

– Ступай навверх, нечего тебе здесь делать... – толкнула она по пути зазевавшуюся Катрю. – Да и Семка глаза проглядел на тебя.

II

Катря стрелой поднялась наверх. В столовой сидела одна Нюрочка, – девочка пила свою утреннюю порцию молока, набивая рот крошками вчерашних сухарей. Она взглянула на горничную и показала головой на кабинет, где теперь сидел смешной мужик.

– Грешно божий дар сорить, – строго проговорила Катря, указывая на разбросанные по скатерти крошки хлеба.

Столовая помещалась между кабинетом и спальней Нюрочки. У печи-голландки со старинною лежанкой почикивали на стене старинные часы. Вся комната была выкрашена серою краской, а потолок выбелен; на полу лежала дорожка. Буфет, стеклянный шкаф с разной посудой, дюжина березовых желтых стульев и две полуведерных бутылки с наливками составляли всю обстановку приказчицкой столовой. Мы сказали, что Нюрочка была одна, потому что сидевший тут же за столом седой господин не шел в счет, как часы на стене или мебель. Он был в халате и сосредоточенно курил длинную трубку. Давно небритое лицо обросло седою щетиной, потухшие темные глаза смотрели неподвижно в одну точку, и вся фигура имела такой убитый, подавленный вид, точно старик что-то забыл и не мог припомнить. Время от времени он подымал худую, жилистую руку и тер ею свой лоб.

– Сидор Карпыч, хотите еще чаю? – спрашивала девочка, лукаво посматривая на своего молчаливого соседа.

– А давайте жь, колы есть, – мягким хохлацким выговором ответил старик, исчезая в клубах табачного дыма. – Пожалуй, выпью.

– Пан пил чай, – заметила Катря, прибирая посуду на столе. – Пан не хоче чаю. Який пану чай, колы вин напивсь?

– Пожалуй, пил, – соглашался старик равнодушно. – Пожалуй, не хочю.

Из столовой маленькая дверка вела в коридор, который соединял переднюю с кабинетом и комнатой для приезжих гостей. Теперь дверь в кабинет была приперта и слышались только мерные тяжелые шаги. Кержак Егор сидел в кабинете у письменного стола и сосредоточенно молчал. Кабинет двумя светлыми и большими окнами выходил на двор. Клеенчатая широкая кушетка у внутренней стены заменяла кровать. Во всю ширину другой внутренней стены тянулся другой стол из простых сосновых досок, заваленный планами, чертежами, образцами руд и чугуна, целою коллекцией склянок с разноцветными жидкостями и какими-то мудреными приборами для химических опытов. По обе стороны стола помещались две массивные этажерки, плотно набитые книгами; большой шкаф с книгами стоял между печью и входною дверью. Над письменным столом на стене висел литографированный вид Парижа.

– Так чего же вы хотите от меня? – спрашивал Петр Елисеич, останавливаясь перед Егором.

– Матушка послала... Поди, говорит, к брату и спроси все. Так и наказывала, потому как, говорит, своя кровь, хоть и не видались лет с десять...

– Да я же тебе говорю, что ничего не знаю, как и все другие. Никто ничего не знает, а потом видно будет.

– Матушка наказывала... Своя кровь, говорит, а мне все равно, родимый мой. Не моя причина... Известно, темные мы люди, прямо сказать: от пня народ. Ну, матушка и наказала: поди к брату и спроси...

Хозяин сделал нетерпеливое движение своею волосатою рукой и даже поправил ворот крахмальной сорочки, точно она его душила. Среднего роста, сутуловатый, с широкою впалою грудью и совершенно седою головой, этот Петр Елисеич совсем не походил на брата. Гладко выбритое лицо и завивавшиеся на висках волосы придавали ему скорее вид старого немца-аптекаря. Неопределенного цвета глаза смотрели из-за больших, сильно увеличивавших очков

в золотой оправе с застенчивою недоверчивостью, исчезавшею при первой улыбке. Привычка нюхать табак сказывалась в том, что старик никогда не выпускал из левой руки шелкового носового платка и в минуты волнения постоянно размахивал им, точно флагом, как было и сейчас. Черный суконный сюртук старинного покроя сидел на нем мешковато. Такие сюртуки носили еще в тридцатых годах: с широким воротником и длинными узкими рукавами, наползавшими на кисти рук. Бархатный пестрый жилет и вычурная золотая цепочка дополняли костюм.

– Я ничего не знаю, – повторял Петр Елисеич, размахивая платком.

Егор встряхнул своими по-кержацки подстриженными волосами и неожиданно проговорил:

– А как же Мосей сказывал, што везде уж воля прошла?.. А у вас, говорит, управители да приказчики всё скроют. Так прямо и говорит Мосей-то, тоже ведь он родной наш брат, одна кровь.

– Да где он теперь, Мосей-то?

– У нас в Самосадке гостит... Вторую неделю околачивается и все рассказывает, потому грамотный человек.

– Отчего же ты мне прямо не сказал, что у вас Мосей смутьянит? – накинулся Петр Елисеич и даже покраснел. – Толкуешь-толкуешь тут, а о главном молчишь... Удивительные, право, люди: все с подходцем нужно сделать, вывести, перехитрить. И совершенно напрасно... Что вам говорил Мосей про волю?

– Все говорил... Как по крестьянам она прошла: молебны служили, попы по церквам манифест читали. Потом по городам воля разошлась и на заводах, окромя наших... Мосей-то говорит, што большая может выйти ошибка, ежели время упустить. Спрячут, говорит, приказчики вашу волю – и конец тому делу.

– Он врет, а вы слушаете!.. Как же можно верить всякому вздору?.. Мосей, может, спьяна болтал?

– Это точно, родимый мой... Есть грех: зашибает. Ну, а пристанские за него, значит, за брата Мосея, и всё водкой его накачивают.

– Ты и скажи своим пристанским, что волю никто не спрячет и в свое время объявят, как и в других местах. Вот приедет главный управляющий Лука Назарыч, приедет исправник и объявят... В Мурмосе уж все было и у нас будет, а брат Мосей врет, чтобы его больше водкой поили. Волю объявят, а как и что будет – никто сейчас не знает. Приказчикам обманывать народ тоже не из чего: сами крепостные.

– Оно, конечно, родимый мой... И матушка говорит то же самое.

– А зачем Мосея слушаете?

– Да уж так... Большое сумление на всех, – ну и слушают всякого. Главная причина, темные мы люди, народ все от пня...

– Матушка здорова? – спрашивал Петр Елисеич, чтобы переменить неприятный для него разговор.

– Ничего, слава богу... Ногами все скудается, да поясницу к ненастью ломит. И то оказать: старо уж место. Наказывала больно кланяться тебе... Говорит: хоть он и табашник и бри-тоус, а все-таки кланяйся. Моя, говорит, кровь, обо всех матернее сердце болит.

– Кланяйся и ты старухе... Как-нибудь заеду, давно не бывал у вас, на Самосадке-то... Дядья как поживают?

– Всё по-старому, родимый мой... По лесу больше промышляют, – по родителям, значит, пошли.

Скрипнувшая дверь заставила обоих оглянуться. На пороге стояла Нюрочка, такая свеженькая и чистенькая, как вылетевшая из гнезда птичка.

– Папа, там запасчик пришел к тебе.

– Ну, пусть подождет, Нюрочка. А вот иди-ка сюда... Это твой дядя, Егор Елисеич. Поцелуй его.

Девочка сделала несколько шагов вперед и остановилась в нерешительности. Егор не шевелился с места и угрюмо смотрел то на заплетенные в две косы русые волосы девочки, то на выставлявшиеся из-под платья белые оборочки кальсон.

– Подходи, не бойся, – подталкивал ее осторожно в спину отец, стараясь подвести к Егору. – Это мой брат, а твой дядя. Поцелуй его.

Егор поднялся с места и, глядя в угол, сердито проговорил:

– А зачем по-бабьи волосы девке плетут? Тоже и штаны не подходящее дело... Матушка наказывала, потому как слухи и до нас пали, что полумужичьем девку обряжают. Не порядок это, родимый мой...

– Ах, какие вы, право: вам-то какая печаль? Ведь Нюрочка никому не мешает... Вы по-своему живете, мы – по-своему. Нюрочка, поцелуй дядю.

Суровый тон, каким говорил дядя, заставил девочку ухватиться за полу отцовского сюртука и спрятаться. Плотнo сжав губы, она отрицательно покачивала своею русою головкой.

– Я дело говорю, – не унимался Егор. – Тоже вот в куфне сидел даве... Какой севодни у нас день-от, а стряпка говядину по горшкам сует... Семка тоже говядину сечкой рубит... Это как?..

Петр Елисеич покраснел и замахал своим платком, но в самый критический момент в кабинет вбежала запыхавшаяся Катря и объявила:

– Паны едут с Мурмоса... На двух повозках с колокольцами. Уж Туляцкий конец проехали и по мосту едут.

– Хорошо, хорошо... – забормотал Петр Елисеич. – Ты, Егор, теперь ступай домой, после договорим... Кланяйся матери: приеду скоро. Катря, скажи Семке, чтобы отворял ворота, да готово ли все в сарайной?

– Усё готово, – ответила Катря, пропуская как-то боком вылезавшего из кабинета Егора. – И постели настланы, и паутину Тишка везде выскреб. Усё готово...

III

Дорога из Мурманского завода проходила широкою улицей по всему Туляцкому концу, спускалась на поемный луг, где разлилась бойкая горная речонка Култым, и круто поднималась в гору прямо к господскому дому, который лицом выдвинулся к фабрике. Всю эту дорогу отлично было видно только из сарайной, где в критических случаях и устраивался сторожевой пункт. Караулили гостей или казачок Тишка, или Катря.

– С фалетуром зажаривают!.. – кричал из сарайной Тишка, счастливый, что первый «узюрил» гостей. – Вон как заухивает... Казаки на вершних гонят!

Мирно дремавший господский дом пришел в страшное движение, точно неожиданно налетела буря. Уханье форейтора и звон колокольчиков приутихли – это поднимались в гору. Вся дворня знала, что с «фалетуром» гонял с завода на завод один Лука Назарыч, главный управляющий, гроза всего заводского населения. Антип распахнул ворота и ждал без шапки у вереи; Семка в глубине двора торопливо прятал бочку с водой. На крыльце показался Петр Елисеич и тревожно прислушивался к каждому звуку: вот ярко дрогнул дорожный колокольчик, завыл форейтор, и два тяжелых экипажа с грохотом вкатились во двор, а за ними, вытянувшись в седлах, как гончие, на мохноногих и горбоносых киргизах, влетели четыре оренбургских казака.

Из первого экипажа грузно вылез сам Лука Назарыч, толстый седой старик в длиннополом сюртуке и котиковом картузе с прямым козырем; он устало кивнул головой хозяину, но руки не подал. За ним бойко выскочил чахоточный и сгорбленный молодой человек – личный секретарь главного управляющего Овсянников. Он везде следовал за своим начальством, как тень. Из второго экипажа горошком выкатился коротенький и толстенький старичок исправник в военном мундире, в белых лайковых перчатках и с болтавшеюся на боку саблей. Он коротко тряхнул руку Петра Елисеича и на ходу успел ему что-то шепнуть, а подвернувшуюся на дороге Нюрочку подхватил на руки и звонко расцеловал в губы. Через минуту он уже бежал через двор в сарайную, а перед ним летел казачок Тишка, прогремевший ногами по лестнице во второй этаж. Высунувшаяся из окна Домнушка кивнула ласково головой бойкому старичку.

– Эге, кума, ты еще жива, – подмигивая, ответил ей исправник. – Готовь нам закуску: треба выпить горилки...

– Пожалуйте-с, – приглашал Тишка, встречая гостя в дверях сарайной.

Опротелью летевшая по двору Катря набежала на «фалетура» и чуть не сшибла его с ног, за что и получила в бок здорового тумака. Она даже не оглянулась на эту любезность, и только голые ноги мелькнули в дверях погреба: Лука Назарыч первым делом потребовал холодного квасу, своего любимого напитка, с которым ходил даже в баню. Кержак Егор спрятался за дверью конюшни и отсюда наблюдал приехавших гостей: его кержацкое сердце предчувствовало, что начались важные события.

В небольшой гостиной господского дома на старинном диванчике с выцветшею ситцевою обивкой сидит «сам» и сердито отдувается. Его сильно расколотило дорогой, да и самая цель поездки – нож острый сердцу старого крепостного управляющего. Скуластое характерное лицо с жирным налетом подернуто неприятною гримасой, как у больного, которому предстоит глотать горькое лекарство; густые седые брови сдвинуты; растопыренные жирные пальцы несколько раз переходят от ручки дивана к туго перетянутой шелковою косынкой шее, – Лука Назарыч сильно не в духе, а еще недавно все трепетали перед его сдвинутыми бровями. Боже сохрани, если Лука Назарыч встанет левою ногой, а теперь старик сидит и не знает, что ему делать и с чего начать. Его возмущает проклятый француз, как он мысленно называет Петра Елисеича, – ведь знает, зачем приехали, а прикидывается, что удивлен, и этот исправник Чермаченко, который, переодевшись в сарайной, теперь коротенькими шажками мельтесит у

него перед глазами, точно бес. Ходит и папиросы курит, – очень обидно Луке Назарычу, хотя исправник и раньше курил в его присутствии, а француз всегда валял набитого дурака.

Катря подала кружку с пенившимся квасом, который издали приятно шибанул старика по носу своим специфическим кисленьким букетом. Он разгладил усы и совсем поднес было кружку ко рту, но отвел руку и хрипло проговорил:

– Иван Семеныч, брось ты свою соску ради истинного Христа... Мутит и без тебя. Вот садись тут, а то бродишь перед глазами, как маятник.

– Нельзя, ангел мой, кровь застоялась... – добродушно оправдывается исправник, зажигая новую папиросу. – Ноги совсем отсидел, да и кашель у меня анафемский, Лука Назарыч; точно западней запрет в горле, не передохнешь. А табачкухватишь – и полегчает...

– Хоть бы в сенки вышел, что ли... – ворчит старик, припадая седою головой к кружке.

– Господа, закусить с дороги, может быть, желаете? – предлагает хозяин, оставаясь на ногах. – Чай готов... Эй, Катря, подавай чай!

Старик ничего не ответил и долго смотрел в угол, а потом быстро поднял голову и заговорил:

– Мы свою хорошую закуску привезли, француз... да. Вот Иван Семеныч тебе скажет, а ты сейчас пошли за попом... Ох, грехи наши тяжкие!..

– Ничего, ангел мой, как-нибудь... – успокаивает исправник, оплевывая в угол. – Это только сначала оно страшно кажется, а потом, глядишь, и обойдется.

Старик вскочил с диванчика, ударил кулаком по столу, так что звякнула кружка с квасом, и забегал по комнате.

– Ну, что фабрика? – накинулся он на Петра Елисеича.

– Ничего, все в исправности... Работы в полном ходу.

– А у нас Мурмос стал... Кое-как набрали народу на одни домны, да и то чуть не Христа ради упросили. Ошалел народ... Что же это будет?

Исправник и хозяин угнетенно молчали, а старик так и остался посреди комнаты знаком вопроса.

Тишка во весь дух слетал за попом Сергеем, который и пришел в господский дом через полчаса, одетый в новую люстриновую рясу. Это был молодой священник с окладистой русою бородой и добродушным бледным лицом. Он вошел в гостиную и поздоровался с гостями за руку, как человек, привыкший к заводским порядкам. Лука Назарыч хотя официально и числился единоверцем, но сильно «прикержачивал»⁴ и не любил получать поповское благословение. Появление этого лица сразу смягчило общее тяжелое настроение.

– Ну, ангел мой, как вы тут поживаете? – спрашивал Иван Семеныч, любовно обнимая батюшку за талию. – Завтра в гости к тебе приду...

– Милости просим...

– Вот что, отец Сергей, – заговорил Лука Назарыч, не приглашая священника садиться. – Завтра нужно будет молебствие отслужить на площади... чтобы по всей форме. Образа поднять, хоругви, звон во вся, – ну, уж вы там знаете, как и что...

– Что же, можно, Лука Назарыч...

– А манифест... Ну, манифест завтра получите. А ты, француз, оповести поутру народ, чтобы все шли.

Петр Елисеич пригласил гостей в столовую откусать, что бог послал. О. Сергей сделал нерешительное движение убраться восвояси, но исправник взял его под руку и потащил в столовую, как хозяин.

⁴ ...числился единоверцем, но сильно «прикержачивал». – Единоверцы – старообрядцы, соединившиеся с православной церковью, но совершавшие богослужение по старопечатным церковным книгам и придерживавшиеся старинных религиозных обрядов. – Прикержачивал – склонялся к старообрядчеству.

– Пропустим по рюмочке, ангел мой, стомаха ради и частых недугов, – бормотал он, счастливый предстоящим серьезным делом.

– Я не пью, Иван Семеныч, – отказывался священник.

– Пустяки: и курица пьет, ангел мой. А если не умеешь, так нужно учиться у людей опытных.

Несмотря на эти уговоры, о. Сергей с мягкой настойчивостью остался при своем, что заставило Луку Назарыча посмотреть на попа подозрительно: «Приглашают, а он кочевряжится... Вот еще невидаль какая!» Нюрочка ласково подбежала к бабушке и, прижавшись головой к широкому рукаву его рясы, крепко ухватила за его руку. Она побаивалась седого сердитого старика.

– Эй, коза, хочешь за меня замуж? – шутил с ней Иван Семеныч, показывая короткою рукой козу.

– Нет, ты старый... – шептала Нюрочка, хихикая от удовольствия.

Обед вышел поздний и прошел так же натянуто, как и начался. Лука Назарыч вздыхал, морщил брови и молчал. На дворе уже спускался быстрый весенний вечер, и в открытую форточку потянуло холодком. Катря внесла зажженные свечи и подставила их под самый нос Луке Назарычу.

– Дура, что я, разве архиерей или покойник? – накинулся старик, топая ногами.

– Не так, ангел мой, – бормотал исправник, переставляя свечи. – Учись у меня, пока жив.

Несчастливая Катря растерянно смотрела на всех, бледная и жалкая, с раскрытым ртом, что немного развлекло Луку Назарыча, любившего нагнать страху.

IV

После обеда Лука Назарыч, против обыкновения, не лег спать, а отправился прямо на фабрику. Петр Елисеич торопливо накинул на худые плечи свою суконную шинель серостального цвета с широким краганом⁵ и по обычаю готов был сопутствовать владыке.

– Не нужно! – проронил всего одно слово упрямый старик и даже махнул рукой.

Он один пошел от заводского дома к заводской конторе, а потом по плотине к крутому спуску на фабрику. Старый коморник, по прозванию Слепень, не узнал его и даже не снял шапки, приняв за кого-нибудь из служащих с медного рудника, завертывавших по вечерам на фабрику, чтобы в конторке сразиться в шашки. В воротах доменного корпуса на деревянной лавочке, точно облизанной от долгого употребления, сидели ожидавшие выпуска чугуна рабочие с главным доменным мастером Никитичем во главе. Конечно, вся фабрика уже знала о приезде главного управляющего и по-своему приготовилась, как предстать пред грозные очи страшного владыки, одно имя которого производило панику. Это было привычное чувство, выросшее вместе со всею этою «огненной работой». Сидевшие на лавочке рабочие знали, что опасность грозит именно с этой лестницы, но узнали Луку Назарыча только тогда, когда он уже прошел мимо них и завернул за угол формовочной.

– Да ведь это сам! – ахнул чей-то голос, и лавочка опустела, точно по ней выстрелили.

Против формовочной стоял длинный кричный корпус; открытые настежь двери позволяли издали видеть целый ряд ярко пылавших горнов, а у внутренней стены долбили по накопальням двенадцать кричных молотов, осыпая искрами тянувших полосы кричных мастеров. Картина получалась самая оживленная, и лязг железа разносился далеко, точно здесь какие-то гигантские челюсти давили и плющили раскаленный добела металл. Ключевской завод славился своим полосовым кричным железом, и Лука Назарыч невольно остановился, чтобы полюбоваться артистической работой ключевских кричных мастеров. Он узнал трех братьев Гуциных, имевших дареные господские кафтаны, туляка Афоньку, двух хохлов – отличные мастера, каких не найдешь с огнем. На стоявшего старика набежал дозорный Полуэхт, по прозвищу Самоварник, и прынул назад, как облитый кипятком. По кричному корпусу точно дунуло ветром: все почуяли близость грозы. Размахивая правилом, торопливо бежал плотинный «сестра» и тоже остановился рядом с Полуэхтом как вкопанный.

Молота стучали, рабочие двигались, как тени, не смеядохнуть, а Лука Назарыч все стоял и смотрел, не имея сил оторваться. Заметив остававшихся без шапок дозорного и плотинного, он махнул им рукой и тихо проговорил:

– Не нужно...

За кричным корпусом в особом помещении тяжело отдувались новые меха, устроенные всего год назад. Слышно было, как тяжело ворочалось двухсаженное водяное колесо, точно оно хотело разворотить всю фабрику, и как пыхтели воздухоудные цилиндры, набирая в себя воздух со свистом и резкими хрипами. Старик обошел меховой корпус и повернул к пудлинговому, самому большому из всех; в ближайшей половине, выступавшей внутрь двора глаголем, ослепительным жаром горели пудлинговые печи, середину корпуса занимал обжимочный молот, а в глубине с лязгом и змеиным шипеньем работала катальная машина. В особом притыке со свистом и подавленным грохотом вертелся маховик, заставлявший сливавшиеся в мутную полосу чугунные валы глотать добела раскаленные пакеты сварочного железа и выплевывать их обратно гнувшимися под собственной тяжестью яркочерными железными полосами.

При входе в этот корпус Луку Назарыча уже встречал заводский надзиратель Подседельников, держа снятую фуражку наотлет. Его круглое розовое лицо так и застыло от умиления,

⁵ Краган – накидной меховой воротник.

а круглые темные глаза ловили каждое движение патрона. Когда рассылка сообщил ему, что Лука Назарыч ходит по фабрике, Подседельников обежал все корпуса кругом, чтобы встретить начальство при исполнении обязанностей. Рядом с ним вытянулся в струнку старик уставщик, – плотинного и уставщика рабочие звали «сестрами».

– Не нужно! – махнул на них рукой Лука Назарыч и медленно прошел прямо к обжимочному молоту, у которого знаменитый обжимочный мастер Пимка Соболев ворочал семипудовую крицу.

Этот прием обескуражил все заводское начальство, и они, собравшись кучкой, следили за владыкой издали. Случай выдался совсем небывалый, и у всех подводило со страху животики. Крут был Лука Назарыч, и его боялись хуже огня. Только покажется на фабрике, а завтра, глядишь, несколько человек и пошло «в гору», то есть в шахту медного рудника, а других порют в машинной при конторе. Как самоучка-практик, прошедший все ступени заводской иерархии, старик понимал мельчайшие тонкости заводского дела и с первого взгляда видел все недочеты.

А Лука Назарыч медленно шел дальше и окидывал хозяйским взглядом все. В одном месте он было остановился и, нахмурив брови, посмотрел на мастера в кожаной защитке и прядениках: лежавшая на полу, только что прокатанная железная полоса была с отщепиной... У несчастного мастера екнуло сердце, но Лука Назарыч только махнул рукой, повернулся и пошел дальше.

Оставался последний корпус, где прокатывали листовое железо. Это было старинное здание, упиравшееся одним концом в плотину. Между ним и пудлинговым помещалась небольшая механическая мастерская. Листовое кровельное железо составляло главный предмет заводского производства, и Лука Назарыч особенно следил за ним, как и за кричным: это было старинное кондовое дело, возникшее здесь с основания фабрики и составлявшее славу Мурманских заводов. На рынке была своя кличка для него: «старый горностаи». В Мурманском заводском округе Ключевской завод считался самым старейшим, а ключевская домна – одной из первых на Урале.

Обогнув механическую, Лука Назарыч в нерешительности остановился перед листокапельной, – его и тянуло туда, и точно он боялся чего. Постояв с минуту, он быстро повернулся и пошел назад тем же путем. Все корпуса замерли, как один человек, и работа шла молча, точно в заколдованном царстве. Старик чувствовал, что он в последний раз проходит полным и бесконтрольным хозяином по своему царству, – проходит, как страшная тень, оставлявшая за собой трепет... Рабочие снимали перед ним свои шляпы и кланялись, но старику казалось, что уже все было не так и что над ним смеются. В действительности же этого не было: заводские рабочие хотя и ждали воли с часу на час, но в них теперь говорила жестокая заводская муштра, те рабы инстинкты, которые искореняются только годами. Самая мысль о воле как-то совсем не укладывалась в общий инвентарь заводских соображений и дум.

Выбравшись на плотину, Лука Назарыч остановился перевести дух, а потом прошел к запорам. Над самым шлюзом, по которому на большой глубине глухо бурлила вода, выдвигалась деревянная площадка, обнесенная балясником. Здесь стояла деревянная скамейка, на которой «сестры» любили посидеть, – вся фабрика была внизу как на ладони. Старик подошел к самой решетке и долго смотрел на расцветенные яркими огнями корпуса, на пылавшую домну и чутко прислушивался к лязгу и грохоту железа, к глухим ударам обжимочного молота. Целая полоса пестрых звуков поднималась к нему снизу, и его заводское сердце обливалось кровью.

– Не нужно... ничего не нужно... – повторял он, не замечая, как по его лицу катились рабы крепостные слезы.

В этот момент чья-то рука ударила старика по плечу, и над его ухом раздался сумасшедший хохот: это был дурачок Терешка, подкравшийся к Луке Назарычу босыми ногами совершенно незаметно.

– Сорок восемь серебром, Иваныч... – бормотал Терешка, скаля белые зубы. – Приказываю... Не узнал начальства, Иваныч?.. Завтра хоронить будем... кисель будет с попами...

Лука Назарыч, опомнившись, торопливо зашагал по плотине к господскому дому, а Терешка провожал его своим сумасшедшим хохотом. На небе показался молодой месяц; со стороны пруда тянуло сыростью. Господский дом был ярко освещен, как и сарайная, где все окна были открыты настежь. Придя домой, Лука Назарыч отказался от ужина и заперся в комнате Сидора Карпыча, которую кое-как успели прибрать для него.

V

В десять часов в господском доме было совершенно темно, а прислуга ходила на цыпочках, не смеядохнуть. Огонь светился только в кухне у Домнушки и в сарайной, где секретарь Овсянников и исправник Чермаченко истребляли ужин, приготовленный Луке Назарычу.

Как стемнелось, кержак Егор все время бродил около господского дома, – ему нужно было увидеть Петра Елисеича. Егор видел, как торопливо возвращался с фабрики Лука Назарыч, убегавший от дурака Терешки, и сам спрятался в караушку сторожа Антипа. Потом Петр Елисеич прошел на фабрику. Пришлось дожидаться его возвращения.

– А, это ты! – обрадовался Петр Елисеич, когда на обратном пути с фабрики из ночной мглы выступила фигура брата Егора. – Вот что, Егор, поспевай сегодня же ночью домой на Самосадку и объяви всем пристанским, что завтра будут читать манифест о воле. Я уж хотел нарочного посылать... Так и скажи, что исправник приехал.

– Не пойдут наши пристанские... – угрюмо отвечал Егор, почесывая в затылке.

– Это почему?

– А так... Попы будут манифесты читать, какая это воля?..

– Ну, что же я могу сделать?.. Как знаете, а мое дело – сказать.

Егор молча повернулся и, не простившись с братом, пропал в темноте. Петр Елисеич только пожал плечами и побрел на огонек в сарайную, – ему еще не хотелось спать, а на людях все-таки веселее. Поднимаясь по лестнице в сарайную, Петр Елисеич в раздумье остановился, – до него донесся знакомый голос рудникового управителя Чебакова, с которым он вообще не желал встречаться. Слышался рассыпчатый смех старика Чермаченко и бормотанье Сидора Карпыча. «Этот зачем попал сюда?» – подумал Петр Елисеич, но не вернулся и спокойно пошел на шум голосов. Отворив дверь, он увидел такую картину: секретарь Овсянников лежал на диване и дремал, Чермаченко ходил по комнате, а за столом сидели Чебаков и Сидор Карпыч.

– Водки хочешь, Сидор Карпыч? – спрашивал Чебаков, наливая две рюмки.

– Пожалуй... – равнодушно соглашался Сидор Карпыч.

– А может быть, и не хочешь?

– Пожалуй.

– Так уж лучше я выпью за твое здоровье...

– Пожалуй...

Чебаков был высокий красавец мужчина с румяным круглым лицом, большими темными глазами и целою шапкой русских кудрей. Он носил всегда черный суконный сюртук и крахмальные сорочки. Бритые щеки и закрученные усы придавали ему вид военного в отставке. По заводам Чебаков прославился своею жестокостью и в среде рабочих был известен под кличкой Палача. Главный управляющий, Лука Назарыч, души не чаял в Чебакове и спускал ему многое, за что других служащих разжаловал бы давно в рабочие. Чебаков, как и Петр Елисеич, оставался крепостным. Петр Елисеич ненавидел Палача вместе с другими и теперь с трудом преодолел себя, чтобы войти в сарайную.

– Про вовка промовка, а вовк у хату, – встретил его Чермаченко, расставляя свои короткие ручки. – А мы тут жартуем...

– Спать пора, – ответил Мухин. – Завтра рано вставать.

– Щось таке: спать?.. А ты лягай, голубчику, вместе з нами, з козаками, о-тут, покотом.

Явившаяся убирать ужин Катря старалась обойти веселого старичка подальше и сердито отмахивалась свободною рукой, когда Чермаченко тянулся ее ушипнуть. Собственно говоря, к такому заигрыванью приезжих «панов» Катря давно привыкла, но сейчас ее смущало присутствие Петра Елисеича.

– Отто гарна дивчина! – повторял Чермаченко, продолжая мешать Катре убирать со стола. – А ну, писанка, перевэрнись!.. Да кажи Домне, що я жь стосковавсь по ней... Вона ласая на гроши.

В этих «жаргах» и «размовах» Овсянников не принимал никакого участия. Это был угрюмый и несообщительный человек, весь ушедший в свою тяжелую собачью службу крепостного письмоводителя. Теперь он, переглянувшись с Чебаковым, покосился на Мухина.

– Чему вы-таки веселитесь, Иван Семеныч? – удивлялся Овсянников, вытягивая свои ноги, как палки.

– Все добрые люди веселятся, Илья Савельич.

– Есть чему радоваться... – ворчал Чебаков. – Только что и будет!.. Народ и сейчас сбесился.

– Это вам так кажется, – заметил Мухин. – Пока никто еще и ничего не сделал... Царь жалует всех волей и всем нужно радоваться!.. Мы все здесь крепостные, а завтра все будем вольные, – как же не радоваться?.. Конечно, теперь нельзя уж будет тянуть жилы из людей... гноить их заживо... да.

– Это вы насчет рудника, Петр Елисеич? – спрашивал Чебаков.

– И насчет рудника и насчет остального.

– Та-ак-с... – протянул Чебаков и опять переглянулся с Овсянниковым. – Только не рано ли вы радуетесь, Петр Елисеич?.. Как бы не пожалеть потом...

– Ну уж нет! Конец нашей крепостной муке... Дети по крайней мере поживут вольными. Вот вам, Никон Авдеич, нравится смеяться над сумасшедшим человеком, а я считаю это гнусностью. Это в вас привычка глумиться над подневольными людьми, а дети этого уже не будут знать. Есть человеческое достоинство... да...

От волнения Мухин даже покраснел и усиленно принялся размахивать носовым платком.

– Бачь, як хранцуз расхорився, – смеялся исправник. – А буде, що буде... Хуже не буде.

– Хуже будет насильникам и кровопийцам! – уже кричал Мухин, ударив себя в грудь. – Рабство еще никому не приносило пользы... Крепостные – такие же люди, как и все другие. Да, есть человеческое достоинство, как есть зверство...

Петр Елисеич хотел сказать еще что-то, но круто повернулся на каблуках, махнул платком и, взяв Сидора Карпыча за руку, потащил его из сарайной. Он даже ни с кем не простился, о чем вспомнил только на лестнице.

– Пожалуй, пойдем... – соглашался Сидор Карпыч.

Вспышка у Мухина прошла так же быстро, как появилась. Конечно, он напрасно погорячился, но зачем Палач устраивает посмешище из сумасшедшего человека? Пусть же он узнает, что есть люди, которые думают иначе. Пора им всем узнать то, чего не знали до нынешнего дня.

– Нет, каково он разговаривает, а? – удивлялся Палач, оглядываясь кругом. – Вот уж Лука Назарыч покажет ему человеческое достоинство...

– Теперь уж поздно, ангел мой, – смеялся исправник.

– Ничего, не мытьем, так катаньем можно донять, – поддерживал Овсянников своего приятеля Чебакова. – Ведь как расхорохорился, проклятый француз!.. Велика корысть, что завтра все вольные будем: тот же Лука Назарыч возьмет да со службы и прогонит... Кому воля, а кому и хуже неволи придется.

– Ко мне бы в гору его послали, француза, так я бы ему показал!.. – грозился Чебаков в пространство.

– Да ведь он и бывал в горе, – заметил Чермаченко. – Это еще при твоём родителе было, Никон Авдеич. Уж ты извини меня, а родителя-то тоже Палачом звали... Ну, тогда француз нагрубил что-то главному управляющему, его сейчас в гору, на шестидесяти сажнях работал... Я-то ведь все хорошо помню... Ох-хо-хо... всячины бывало...

Скоро весь господский дом заснул, и только еще долго светился огонек в кабинете Петра Елисеича. Он все ходил из угла в угол и снова переживал неприятную сцену с Палачом. Сколько лет выдерживал, терпел, а тут соломинкой прорвало... Не следовало горячиться, конечно, а все-таки есть человеческое достоинство, черт возьми!..

Караульный Антип ходил вокруг господского дома и с особенным усердием колотил в чугунную доску: нельзя, «служба требует порядок», а пусть Лука Назарыч послушает, как на Ключевском сторожа в доску звонят. Небойсь на Мурмосе сторожа харчистые, подолгу спать любят. Антип был человек самолюбивый. Чтобы не задремать, Антип думал вслух:

– Эй, Антип, воля пришла... Завтра, брат, все вольные будем! Если бы тебе еще зубы новые дать на воле-то...

Старик Антип был из беглых и числился в разряде непомнящих родства. Никто не помнил, когда он поселился на Ключевском заводе, да и сам он забыл об этом. Ох, давно это было, как бежал он «из-под помещика», подпалив барскую усадьбу, долго колесил по России, побывал в Сибири и, наконец, пристроился на Мурмосских заводах, где принимали в былое время всяких беглых, как даровую рабочую силу. Припомнил Антип сейчас и свою Курскую губернию, и мазанки, и вишневые садочки, и тихие зори, и еще сердитее застучал в свою доску, которая точно жаловалась, раскачиваясь в руке.

– Э, дураки, чему обрадовались: воля...

VI

Ключевской завод принадлежал к числу знаменитейших Мурманских заводов, дача которых своими сотнями тысяч десятин залегла на самом перевале Среднего Урала. С запада на восток Мурманская заводская дача растянулась больше чем на сто верст, да почти столько же по оси горного кряжа. Главную красоту дачи составляли еще сохранившиеся леса, а потом целая сеть глубоких горных озер, соединявшихся протоками с озерами степными. Заводский центр составлял громадный Мурманский завод, расположившийся между двумя громадными озерами – Октыл и Черчеж. Свое название завод получил от глубокого протока, соединяющего между собой эти два озера. Дорога из Мурманского завода в Ключевской завод почти все время шла по берегу озера Черчеж, а затем выходила на бойкую горную речку Березайку. Ключевской завод поместился в узле трех горных речек – Урья, Сойга и Култым, которые образовали здесь большой заводский пруд, а дальше шли уже под именем одной реки Березайки, вливавшейся в Черчеж. На восточном склоне таких горных речек, речонки и просто ручьев тысячи. Все они в жаркие летние дни почти пересыхают, но зато первый дождь заставляет их весело бурлить и пениться, а весной последняя безыменная речонка надувалась, как будто настоящая большая река, выступала из берегов и заливала поемные луга. Живая горная вода сочилась из-под каждой горы, катилась по логам и уклонам, сливалась в бойкие речки, проходила через озера и, повернув тысячи тяжелых заводских и мельничных колес, вырывалась, наконец, на степной простор, где, как шелковые ленты, ровно и свободно плыли красивые степные реки.

В прежние времена, когда еще не было заводов, в этих местах прятались всего два раскольничьих выселка: на р. Березайке стояли Ключи, да на р. Каменке, сбегавшей по западному склону Урала, пристань Самосадка. Место было глухое, леса непроходимые, топи и болота. Осевшее здесь население сбегалось на Урал из коренной России, а потом пополнялось беглыми и непомятыми родства. Когда, в середине прошлого столетия, эта полоса целиком попала в одни крепкие руки, Ключи превратились в Ключевской завод, а Самосадка так и осталась пристанью. Как первый завод в даче, Ключевской долго назывался старым, а Мурманский – новым, но когда были выстроены другие заводы, то и эти названия утратили всякий смысл и постепенно забылись. «Фундатором» этого заводского округа был выходец из Балахны, какой-то промышленный человек по фамилии Устюжанин. Когда впоследствии эта фамилия вошла в силу и добилась дворянства, то и самую фамилию перекрестили в Устюжаниновых. При старике Устюжанине в Ключевском заводе было не больше сотни домов. У только что запруженной Березайки поставилась первая доменная печь, а к ней прилажен был небольшой кирпичный корпус. Верстах в двух ниже по течению той же реки Березайки, на месте старой чудской копи, вырос первый медный рудник Крутяш, – это был один из лучших медных рудников на всем Урале. Устюжаниновы повели заводское дело сильною рукой, а так как на Урале в то время рабочих рук было мало, то они охотно принимали беглых раскольников и просто бродяг, тянувших на Урал из далекой помещицкой «Расеи». Сами Устюжаниновы тоже считались «по старой вере», и это обстоятельство помогло быстрому заселению дачи.

Если смотреть на Ключевской завод откуда-нибудь с высоты, как, например, вершина ближайшей к заводу горы Еловой, то можно было залюбоваться открывавшеюся широкою горною панорамой. На западе громоздились и синели горы с своими утесистыми вершинами, а к востоку местность быстро понижалась широким обрывом. Десятки озер глядели из зеленой рамы леса, как громадные окна, связанные протоками и речками, как серебряными нитями. В самом Ключевском заводе невольно бросалась в глаза прежде всего расчлененность «жила», раскидавшего свои домишки по берегам трех речек и заводского пруда. Первоначальное «жило» расположилось на левом крутом берегу реки Урьи, где она впадала в Березайку. Утесистый берег точно был усыпан бревенчатыми избами, поставленными по-раскольничьи: избы

с высокими коньками, маленькими окошечками и глухими, крытыми со всех сторон дворами. Эти почерневшие постройки кондового раскольничьего «жила» были известны под общим именем «Кержацкого конца».

Когда река Березайка была запружена и три реки слились в один пруд, заводским центром сделалась фабрика. Если идти из Кержацкого конца по заводской плотине, то на другом берегу пруда вы попадали прямо в заводскую контору. Это было низкое деревянное здание с мезонином, выкрашенное желтой краской; фронтон составляли толстые белые колонны, как строились при Александре I. Громадный двор конторы был занят конюшнями, где стояли «казенные» лошади, швальней, где шорники шили всякую сбрую, кучерской, машинной, где хранились пожарные машины, и длинным флигелем, где помещались аптека и больница. Машинная, кроме своего прямого назначения, служила еще местом заключения и наказания, – конюха, между прочим, обязаны были пороть виноватых. Контора со всеми принадлежавшими к ней пристройками стояла уже на мысу, то есть занимала часть того угла, который образовали речки Сойга и Култым. От конторы шла по берегу пруда большая квадратная площадь. Господский дом стоял как раз против конторы, а между ними в глубине площади тянулись каменные хлебные магазины. На другом конце площади на пригорке красовался деревянный базар, а на самом берегу пруда стояла старинная деревянная церковь, совсем потонувшая в мягкой зелени лип и черемух. Отдельный порядок, соединявший базар с господским домом, составляли так называемые «служительские дома», где жили заводские служащие и церковный причт.

В таком виде Ключевской завод оставался до тридцатых годов. Заводское действие расширялось, а заводских рук было мало. Именно в тридцатых годах одному из Устюжаниновых удалось выгодно приобрести две большие партии помещичьих крестьян, – одну в Черниговской губернии, а другую – в Тульской. Малороссы и великороссы были «пригнаны» на Урал и попали в Ключевской завод, где и заняли свободные места по р. Сойге и Култыму. Таким образом образовались два новых «конца»: Туляцкий на Сойге и Хохлацкий – на Култыме. Новые поселенцы получили от кержаков обидное прозвище «мочеган», а мочегане в свою очередь окрестили кержаков «обушниками». Разница в постройках сразу определяла характеристику концов, особенно Хохлацкого, где избы были поставлены кое-как. Туляки строились «на расейскую руку», а самые богатые сейчас же переняли всю кержацкую повадку, благо лесу кругом много. Хохлы селились как-то врозь, с большими усадями, лицом к реке, а туляки осели груднее и к реке огородами.

Всех дворов в трех концах насчитывали до тысячи, следовательно, население достигало тысяч до пяти, причем между концами оно делилось неравномерно: Кержацкий конец занимал половину, а другая половина делилась почти поровну между двумя остальными концами.

Мы уже сказали, что в двух верстах от завода открыт был медный рудник Крутяш. Сюда со всех заводов ссылали провинившихся рабочих, так что этот рудник служил чем-то вроде домашней каторги. Попасть «в медную гору», как мочегане называли рудник, считалось величайшей бедой, гораздо хуже, чем «огненная работа» на фабрике, не говоря уже о вспомогательных заводских работах, как поставка дров, угля и руды или перевозка вообще. Ссылное население постепенно образовало по течению Березайки особый выселок, который получил название Пеньковки. В течение времени Пеньковка так разрослась, что крайними домишками почти совсем подошла к Кержацкому концу, – их разделила только громадная дровяная площадь и черневшие угольные валы. Постройки в Пеньковке сгорожены были кое-как, потому что каждый строился на живую руку, пока что, да и народ сошелся здесь самый нехозяйственный. Пеньковка славилась как самое отчаянное место, поставлявшее заводских конюхов, поденщиц на фабрику и рабочих в рудник. Через Пеньковку шла дорога на пристань Самосадку, которая была уже по ту сторону Урала. До нее считалось от Ключевского завода верст двадцать, хотя версты и мерили заводские приказчики. По дороге в Самосадку особенно сильное движение

происходило зимой, когда на пристань везли «металл», а с пристани и из дальних куреней уголь и дрова.

Отдельно от всех других построек стояла заимка старика Основы, приткнувшись на правом берегу р. Березайки, почти напротив Крутяша. Основа был кержак и слыл за богатого человека. Он первый расчистил лес под пашню и завел пчел; занимался он, главным образом, рыболовством на озерах, хотя эти озера и сдавались крупным арендаторам, так что население лишено было права пользоваться рыбой. Заимка Основы являлась каким-то таинственным местом, про которое ходило много рассказов. Старик жил крепко и редко куда показывался, а попасть к нему на заимку было трудно, – ее сторожила целая стая злющих собак.

VII

Последняя крепостная ночь над Ключевским заводом миновала.

Рано утром, еще совсем «на брезгу», по дороге с пристани Самосадки, с настоящими валдайскими колокольчиками под дугой, в Ключевской завод весело подкатил новенький троечный экипаж с поднятым кожаным верхом. По звону колокольчиков все знали, что едет Самойло Евтихыч, первый заводский богатей, проживавший на Самосадке, – он был из самосадских «долгоспинников» и приходился Мухину какою-то дальнею родней. Из разбогатевших подрядчиков Самойло Евтихыч Груздев на Мурманских заводах представлял своею особою громадную силу: он отправлял заводский караван по р. Каменке, он владел десятком лавок с красным товаром, и, главное, он содержал кабаки по всем заводам. Обыкновенно Груздев останавливался на заимке у старика Основы, но теперь его запыхавшаяся тройка в наборной сбруе подъехала прямо к господскому дому. С козел не торопясь слез здоровенный мужик Матвей Гушин, первый борец по заводам, ездивший с Груздевым в качестве «обережного».

Из экипажа сам Груздев выскочил очень легко для своих пятидесяти лет и восьми пудов веса. Он схватил за плечо спавшего Антипа и начал его трясти.

– Разе так караулят господские дома, старый черт? – кричал он, довольный, что испугал старика.

– Лука Назарыч здесь... – едва мог проговорить Антип, напрасно стараясь освободиться из медвежьей лапы Груздева. – Он в дому, а гости в сарайной.

Это известие заставило Груздева утихнуть. Он по старой мужицкой привычке провел всею ладонью по своему широкому бородатому лицу с плутоватыми темными глазками, тряхнул головой и весело подумал: «А мы чем хуже других?» С заводскою администрацией Груздев сильно дружил и с управителями был за панибрата, но Луки Назарыча побаивался старым рабым страхом. В другое время он не посмел бы въехать во двор господского дома и разбудить «самого», но теперь было все равно: сегодня Лука Назарыч велик, а завтра неизвестно, что будет.

– Отворяй ворота, старый черт! – крикнул Груздев сторожу и сладко потянулся.

Одет был Груздев на господскую руку: верхнее «французское» пальто из синего драпа, под французским пальто суконный черный сюртук, под сюртуком жилет и крахмальная сорочка, на голове мягкая дорожная шляпа, – одним словом, все форменно.

– Эй, Васюк, вставай! – будил Груздев мальчика лет десяти, который спал на подушках в экипаже счастливым детским сном. – Пора, брат, а то я уеду один...

Эта угроза заставила подняться черноволосую головку с заспанными красивыми глазами. Груздев вынул ребенка из экипажа, как перышко, и на руках понес в сарайную. Топанье лошадиных ног и усталое позвякиванье колокольчиков заставило выглянуть из кухни Домнушку и кучера Семку.

– Эку рань принесло гостей!.. – ворчала Домнушка, зевая и крестя рот.

– Ехал бы на заимку к Основе, требушина этакая! – ругался Семка, соображая, что нужно идти принимать лошадей.

– Нет, Самойло Евтихыч славный... – сонно проговорила Домнушка и, встряхнувшись, как курица, принялась за свою работу: квашня поспела, надо печку топить, потом коров отпустить в пасево, а там пора «хлеб творить», «мягки⁶ катать» и к завтраку какую-нибудь постряпеньку Луке Назарычу налаживать.

Разбитная была бабенка, увертливая, как говорил Антип, и успевала управляться одна со всем хозяйством. Горничная Катря спала в комнате барышни и благодаря этому являлась в

⁶ Мяжки – пироги, калачи.

кухню часам к семи, когда и самовар готов, и печка дотапливается, и скатанные хлебы «доходят» в деревянных чашках на полках. Теперь Домнушка ругнула соную-хохлушку и принялась за работу одна.

Появление Груздева в сарайной разбудило первым исправника, который крепко обругал раннего гостя, перевернулся на другой бок, попытался было заснуть, но сон был «переломлен», и ничего не оставалось, как подняться и еще раз обругать долгоспинника.

– Куда торопишься ни свет ни заря? – обрушился на Груздева старик, охая от застарелых ревматизмов. – Не беспокойся: твое и без того не уйдет.

– Кто рано встает, тому бог подает, Иван Семеныч, – отшучивался Груздев, укладывая спавшего на руках мальчика на полу в уголку, где кучер разложил дорожные подушки. – Можно один-то день и не поспать: не много таких дней насчитаешь. А я, между прочим, Домнушке наказал самоварчик наставить... Вот оно сон-то как рукой и снимет. А это кто там спит? А, конторская крыса Овсянников... Чего-то с дороги поясницу разломило, Иван Семеныч!

– Самосадские старухи вылечат...

– И то кровь давно не отворял. Это ты верно!

Домнушка знала свычай Груздева хорошо, и самовар скоро появился в сарайной. Туда же Домнушка уже сама притащила на сковороде только что испеченную в масле пшеничную лепешку, как любил Самойло Евтихыч: один бочок подрумянен, а другой совсем пухлый.

– Так-то вот, ваше благородие! – говорил Груздев, разливая чай по стаканам. – Приходится, видно, по-новому жить...

– Тебе-то большая печаль: новые деньги загреть...

– Ну, это еще старуха надвое сказала, Иван Семеныч. В глупой копейке толку мало, а умная любит, чтобы ее умненько и брали... Ну что, как Лука-то Назарыч?

– Как ночь темная...

– Так, так... Ндравный старик, характерный, а тут вдруг: всякий сам себе главный управляющий. У Луки-то Назарыча и со служащими короткий был разговор: «В гору!» Да... Вон как он Мухина-то прежде донимал... На моих памятях дело было, как он с блендой⁷ в гору по стремянке лазил, даром что в Париже выучился. Трудно, пожалуй, будет старичку, то есть Луке Назарычу. По Расее-то давно воля прошла, Иван Семеныч, а у нас запозднилась немножко. Большое сумление для простого народу от этого было. Как уж они, то есть мужики, все знают – удивительно. Газет не читают, посторонних людей не видят, а все им доподлинно известно. Затянули волю на Мурмосе: апрель месяц на дворе.

– Куда торопиться-то? Не такое дело... Торопятся, душа моя, только блох ловить. Да и не от нас это самое дело зависит...

– Ну, да уж сколько ни ждали, а все-таки дождались.

Эти разговоры разбудили Овсянникова. Он встал недовольный и сердитый и, не умывшись, подсел к самовару.

– Скоро семь часов... Ух, как время-то катится! – удивлялся Груздев, вытаскивая из жилетного кармана массивные золотые часы.

– Да вон и поп в церковь побрел, – заметил исправник, заглядывая в окно. – И денек славный выдался, солнышко так и жарит.

Овсянников молча и сосредоточенно пил один стакан чая за другим, вытирал свое зеленое лицо платком и как-то исподлобья упорно смотрел на хозяйничавшего Груздева.

– Что ты на меня уставился, как бык? – заметил тот, начиная чувствовать себя неловко.

– Да так... Денег, говорят, у тебя очень много, Самойло Евтихыч, так вот и любопытно поглядеть на богатого человека.

⁷ Блендой называется рудничная лампа, которую рабочие прикрепляют к поясу; стремянка – деревянная лестница, по которой спускаются в шахты. (Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряка.)

– Завидно, что ли?.. Ведь не считали вы деньги-то у меня в кармане...

– А вот, душа моя, Самойло-то Евтихыч с волей распыхается у нас, – заговорил исправник и даже развел руками. – Тогда его и рукой не достанешь.

– По осени гусей считают, Иван Семеныч, – скромничал Груздев, очень польщенный таким вниманием. – Наше такое дело: сегодня богат, все есть, а завтра в трубу вылетел.

Прибежавший Тишка шепотом объявил, что Лука Назарыч проснулся и требует к себе Овсянникова. Последний не допил блюдечка, торопливо застегнул на ходу сюртук и разбитую походкой, как опоенная лошадь, пошел за казачком.

– Глиста!.. – проговорил Груздев вслед Овсянникову. – Таким бы людям и на свет лучше не родиться. Наверное, лежал и подслушивал, что мы тут калякали с тобой, Иван Семеныч, потом в уши Луке Назарычу и надует.

Груздев пожалел про себя, что не во-время развязал язык с исправником, но уж ничего не поделаешь. Сказанное слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

VIII

Ровно в девять часов на церкви загудел большой колокол, и народ толпами повалил на площадь. Из Туляцкого и Хохлацкого концов, как муравьи, ползли мужики, а за ними пестрели бабы платки и сарафаны. Всевозможная детвора скоро облепила всю церковную ограду, паперть и даже церковные липы. Церковь была маленькая и не могла вместить столько народа. А колокол гудел, разливая в воздухе мерную, торжественную волну. Народ столпился везде. На базаре стояли в своих жупанах и кожухах хохлы, у поповского порядка – туляки; бабы пестрою волнующеюся кучей ждали у церковной ограды. Старухи хохлушки в больших сапогах и выставившихся из-под жупанов длинных белых рубахах, с длинными черемуховыми палками в руках, переходили площадь разбитую, усталою походкой, не обращая внимания ни на кого. Худые и тонкие, с загоревшею, сморщенной кожей шеи, как у жареного гуся, замотанные тяжелыми платками головы и сгорбленные, натруженные спины этих старух представляли резкий контраст с плотными и белыми тулянками, носившими свои понитки в накидку. Великорусский тип особенно сказывался на стариках: важный и степенный народ, с такими открытыми лицами и белыми патриархальными бородами.

Колокол все гудел, народ прибывал, и на площади становилось тесно. Около заводской конторы и на крыльце сидели служащие и мелкая заводская сошка, а у машинной, где висел на высоком столбе медный колокол, шушукалась и хихикала расцветенная толпа заводских поденщиц, вырядившихся в ситцевые сарафаны, кумачные платки и станушки с пестрыми подзорами. Тут были и хохлушки, и тулянки, и кержанки, но заводская поденщина давно сгладила всякую племенную разницу. Заводские конюха и приехавшие с гостями кучера заигрывали с этою веселою толпой, которая взвизгивала, отмахивалась руками и бросала в конюхов комьями земли. Кое-кто из мужиков насмелился подойти к самому господскому дому. У ворот стояли отдельною кучкой лесообъездчики и мастера в дареных господских кафтанах из синего сукна с позументом по вороту и на полах.

Фабрика была остановлена, и дымилась одна доменная печь, да на медном руднике высокая зеленая железная труба водокачки пускала густые клубы черного дыма. В общем движении не принимал никакого участия один Кержацкий конец, – там было совсем тихо, точно все вымерли. В Пеньковке уже слышались песни: оголтелые рудничные рабочие успели напиться по рудниковой поговорке: «кто празднику рад, тот до свету пьян».

На дворе господского дома у крыльца стоял выездной экипаж, дожидавшийся «самого». Лука Назарыч еще не выходил из своей комнаты, а гости и свои служащие ждали его появления в гостиной и переговаривались сдержанным шепотом. Слышно было, как переминалась с ноги на ногу застоявшаяся у крыльца лошадь да как в кухне поднималась бабья трескотня: у Домнушки сидела в гостях шинкаря Рачителиха, красивая и хитрая баба, потом испитая старуха, надрывавшаяся от кашля, – мать Катри, заводская дурочка Парасковья-Пятница и еще какие-то звонкоголосые заводские бабенки. Маленькая Нюрочка занимала свой обычный пост на лестнице и со страхом и любопытством смотрела на дурочку, которая в окошко плевала на дразнившего ее Васю Груздева.

– Ты, балун, перестань... – уговаривала Домнушка мальчика и качала головой, когда тот показывал ей язык.

До десятка ребятшек, как воробьи, заглядывали в ворога, а Вася жевал пряники и бросал им жвачку. Мальчишки гурьбой бросались на приманку и рассыпались в сторону, когда Вася принимался колотить их тонкою камышевою тросточкой; он плевал на Парасковью-Пятницу, ущипнул пробегавшую мимо Катрю, два раза пребольно поколотил Нюрочку, а когда за нее вступилась Домнушка, он укусил ей руку, как волчонок.

– У, озорник проклятый!.. – ругалась Домнушка и грозила мальчику своим кулаком. – Ужо вот скажу отцу-то.

– Ну, скажи, что ты круглая дура! – бойко отвечал мальчик и был совершенно счастлив, что его слова вызвали сдержанный смех набравшейся во двор толпы. – У тебя и рожа глупая, как решето!

Наконец, показался и Лука Назарыч, грузно уселся в экипаж и вместе с исправником, нарядившимся в мундир и белые перчатки, отправился в церковь. За ним двинулись гурьбой остальные – Груздев, Овсянников и сам Мухин, который вел за руку свою Нюрочку, раздевшуюся в коротенькое желтенькое платьице и соломенную летнюю шляпу с полинявшими лентами. Девочка бойко семенила маленькими ножками и боязливо оглядывалась назад, потому что Вася потихоньку от отца дергал ее за юбки. От конторы к ним присоединились заводские служащие: целая семья Подседельниковых и семья Чебаковых, дозорные, уставщик Корнило, плотинный Евстигней, лесобъездчики и кафтанники. Трапезник Павел, худой черноволосый туляк, завидев выезжавший из господского дома экипаж, ударил во вся, – он звонил отлично, с замиравшими переходами, когда колокола чуть гудели, и громкими трелями, от которых дрожала, как живая, вся деревянная колокольня. Навстречу заводской власти из церковной ограды показались зеленые хоругви, ярко блеснули иконы, а за ними мерным шагом двигался церковный причт в полном праздничном облачении.

Поднятые иконы несли все туляки, опоясанные через плечо белыми полотенцами. Вся площадь глухо замерла. Место для молебна было оцеплено лесобъездчиками и приехавшими с исправником казаками, которые гарцевали на своих мохноногих лошадках и помахивали на напраившую толпу нагайками.

Парчовый низенький аналои служил центром. Перед ним полукругом выстроились иконы; хоругви колыхались на высоких древках по бокам. Старичок дьякон, откашлявшись, провозгласил эктению, а ему ответил целый хор с дьячком Евгеньичем во главе. Пели свои заводские служащие, как фельдшер Хитров, учитель Агап Горбатый, заводский надзиратель Ястребок, рудничный надзиратель Ефим Андреич и целовальник Рачитель. Посыпались дождем усердные кресты, головы наклонились, как под напором ветра стелются лоснящаяся волной спелые колосья на ниве. Лука Назарыч стоял впереди всех, сумрачный и желтый. Он старался не смотреть кругом и откладывал порывистые кресты, глядя на одну старинную икону, – раскольникам под открытым небом позволяется молиться старинным писаным иконам, какие выносят из православных церквей. Около него стояла Нюрочка и все оглядывалась на отца, который, наклонившись к ней, сдавленным от слез голосом шептал ей:

– Нюрочка, молись богу...

Мухин еще дорогой подхватил дочь на руки и, горячо поцеловав в щеку, шепнул на ухо:

– Нюрочка, помни этот день: другого такого дня не будет... Молись хорошенько богу, твоя детская чистая молитва дойдет скорее нашей.

Нюрочка все смотрела на светлые пуговицы исправника, на трясущуюся голову дьячка Евгеньича с двумя смешными косичками, вылезавшими из-под засаленного ворота старого нанкового подрясника, на молившийся со слезами на глазах народ и казачьи нагайки. Вот о. Сергей начал читать прерывавшимся голосом евангелие о трехдневном Лазаре, потом дьячок Евгеньич уныло запел: «Тебе бога хвалим...» Потом все затихло.

О. Сергей обернулся лицом к Луке Назарычу, вынул из-под ризы свернутую вчетверо бумагу, развернул ее своими белыми руками и внятно начал читать манифест: «Осени себя крестным знаменем, русский народ...» Глубокая тишина воцарилась кругом. Многие стояли на коленях. Какая-то старушка тулянка припала головой к земле, и видно было, как вздрагивало у ней все тело от подавленных глухих рыданий. Дурачок Терешка стоял около дьячка и сердито смотрел кругом. На левой, бабьей стороне мелькала простоволосая голова Парасковей-Пятницы. В кучках служащих виднелись красные заплаканные лица. Старик запасчик

стоял на коленях и, откладывая широкие кресты, благочестиво качал головой, точно он хотел запомнить каждое слово манифеста.

Великая и единственная минута во всей русской истории свершилась... Освобожденный народ стоял на коленях. Многие плакали навзрыд. По загорелым старым мужицким лицам катились крупные слезы, плакал батюшка о. Сергей, когда начали прикладываться ко кресту, а Мухин закрыл лицо платком и ничего больше не видел и не слышал. Груздев старался спрятать свое покрасневшее от слез лицо, и только один Палач сурово смотрел на взволнованную и подавленную величием совершившегося толпу своими красивыми темными глазами.

Солнце ярко светило, обливая смешавшийся кругом аналоя народ густыми золотыми пятнами. Зеленые хоругви качались, высоко поднятые иконы горели на солнце своею позолотой, из кадила дьякона синеватую кудрявою струйкой поднимался быстро таявший в воздухе дымок, и слышно было, как, раскачиваясь в руке, позванивало оно медными колечками.

– Иванычи, господи помилуй идет! – вскрикивал Терешка, становясь в голове обратной процессии.

Сейчас после молебна Лука Назарыч отправился в Мурмос. Он даже не зашел в комнату. С ним рядом сидел красавец Палач. Опять звонко завыл «фалетур», и бешеная пятерка полетела через мост по мурмосской дороге. Исчезавшее впереди облачко пыли показывало след угнавших вперед загонщиков. За экипажем главного управляющего в виде почетного конвоя скакали лесообъездчики, погромыхивая своими лядунками. В это время исправник объяснил столпившимся около него мужикам, что нужно составлять уставную грамоту, выбирать старшину и т. д. Через заводскую плотину валила на площадь густая толпа раскольников, – тронулся весь Кержацкий конец, чтобы послушать, как будет читать царский манифест не поп, а сам исправник.

IX

С отъездом Луки Назарыча весь Ключевской завод вздохнул свободнее, особенно господский дом, контора и фабрика. Конечно, волю объявили, – отлично, а все-таки кто его знает... Груздев отвел Петра Елисеича в кабинет и там допрашивал:

– Зачем так скоро угнал Лука-то Назарыч? Даже в горницы не зашел...

– Право, не знаю... Вообще он такой недовольный и озлобленный.

– Отошла, видно, пора, вот и злится.

Господский дом был переполнен народом. Заводский люд по привычке льнул к нему, полный недоумения и смутных вопросов. Любопытные заглядывали в окна, другие продирались во двор, где на особом положении чинно сидели на деревянных скамьях кафтанники, кричные мастера и особенно почтенные старики. Всю лестницу и переднюю заняли лесообъездчики и такие служащие, как дозорный Самоварник и «сестры», уставщик Корнило и плотинный Евстигней. Между ними толкался доменный мастер Никитич, который всегда что-нибудь бормотал, как было и теперь.

– Родимые мои, слава тебе, господи... Ну, и народичку понаперло: здорово! Эх, родимые вы мои...

Заводские служащие дожидались приглашения в конторе и пришли в господский дом двумя партиями: сначала пришли Подседельниковы, а за ними Чебакова родня. Мужики снимали шляпы и шапки, а Никитич как-то по-бабьи причитал: «Благодетели, родимые... Ефиму Андреичу низжайшее... Ах, голубь ты наш сизокрылый...» Служащие кланялись и степенно проходили в «горницы», где их встречал Петр Елисеич. Эти две фамилии заводских служащих враждовали между собой с испокон веку и теперь сошлись вместе в полном своем составе, кажется, еще в первый раз. Во главе фамилии Чебаковых стояли меднорудянский надзиратель старичок Ефим Андреич и Палач, а во главе Подседельниковых – заводский надзиратель Ястребок; первые с испокон веку обращались, главным образом, около медного рудника Крутяша, а вторые на фабрике и в заводской конторе, хотя и встречались перебежчики. Были служащие, как фельдшер Хитров или учитель Агап Горбатый, которые не принадлежали ни к той, ни к другой партии: фельдшер приехал из Мурманска, а учитель вышел из мочеган. Все они были крепостные.

Отдельно держались приезжие, как своего рода заводская аристократия, Овсянников, Груздев, исправник, старик Основа и о. Сергей. К ним присоединились потом Ефим Андреич и Ястребок. Основа, плечистый и широкий в кости старик, держал себя совершенно свободно, как свой человек. Он степенно разглаживал свою седую, окладистую бороду и вполголоса разговаривал больше с Груздевым. В своем раскольниковом полукафтани, с подстриженными в скобку волосами, Основа резко выделялся из остальных гостей.

– Ну, господи, теперь можно и выпить, – предлагал Мухин, стараясь занимать своих гостей.

– Тот не добрый человек, кто не пьет горилки, – поддерживал его отдохнувший после молебна исправник.

Домнушка, Катря и казачок Тишка выбивались из сил: нужно было приготовить два стола для панов, а там еще стол в сарайной для дозорных, плотинного, уставщиков и кафтанников и самый большой стол для лесообъездчиков и мастеров во дворе. После первых рюмок на Домнушку посыпался целый ряд непрошенных любезностей, так что она отбивалась даже ногами, особенно когда пробегала через крыльцо мимо лесообъездчиков.

Больше всех надоедал Домнушке гонявшийся за ней по пятам Вася Груздев, который толкал ее в спину, щипал и все старался подставить ногу, когда она тащила какую-нибудь посуду. Этот «пристанской разбойник», как окрестила его прислуга, вообще всем надоел. Когда ему

наскучило дразнить Сидора Карпыча, он приставал к Нюрочке, и бедная девочка не знала, куда от него спрятаться. Она спаслась только тем, что ушла за отцом в сарайную. Петр Елисеич, по обычаю, должен был поднести всем по стакану водки «из своих рук».

– Родимый мой, Петр Елисеич, – причитал Никитич, уже успевший где-то хлебнуть. – Родимый мой, дай я тебя поцелую от желань-сердца.

– А ты уж ушел клюкнуть? – удивлялся Петр Елисеич.

– Да ведь, родимый мой, Петр Елисеич... а-ах, голубь ты наш сизокрылый! Ведь одна нам волю-то справить, а другой не будет...

– Смотри, чтобы козла⁸ в домну для праздника не посадить.

– Я? А-ах, родимый ты мой... Да я, как родную мать, ее стерегу, доменку-то свою. А ты уж нам из своих рук подай, голубь.

Петр Елисеич наливал стаканы, а Нюрочка подавала их по очереди. Девочка была счастлива, что могла принять, наконец, деятельное участие в этой церемонии, и с удовольствием следила, как стаканы быстро выпивались, лица веселели, и везде поднимался смутный говор, точно закипала приставленная к огню вода.

Предобеденная закуска развязала языки и в господском доме, где тоже все заметно оживились.

– Теперь я... ежели, например, я двадцать пять лет, по два раза в сутки, изо дня в день в шахту спускался, – ораторствовал старик Ефим Андреич, размахивая руками. – Какая мне воля, ежели я к ненастью поясницы не могу разогнуть?

Старик Чебаков принадлежал к типу крепостных заводских служащих фанатиков. Он точно родился в своем медном руднике. Желтый и сторбленный, с кривыми короткими ногами, с остриженными под гребенку, серыми от седины волосами и узкими, глубоко посаженными глазами, он походил на крота. Рудниковые рабочие боялись его, как огня, потому что он на два аршина под землей видел все. Служащие уважали его, как отчаянного «делягу», и охотно теперь слушали, сбившись в кучку. О воле точно боялись говорить, – кто знает, что еще будет? – а старики грустно вздыхали: может, и хуже будет.

Обед начался очень весело, и на время все забыли про свои личные счета и мелкие недоразумения. Незаметно сгладилась даже разница, разделявшая ключевских служащих от приезжих. Нюрочка сидела около отца и слушала, что говорят другие. Ей было весело безотчетно, потому что веселились другие. Особенно смешил ее исправник Иван Семеныч, который то пугал ее козой, то делал из салфетки зайчика и даже кудахтал по-индюшечьи. Только в разгар обеда, когда все окончательно развеселились, произошел неприятный случай. Захмелевший Овсянников ни с того ни с чего начал придирааться к Ивану Семенычу. Сначала старик отшучивался, а потом покраснел.

– Эти хохлы – упрямые черти, – продолжал Овсянников.

Петр Елисеич заговорился с Груздевым и не успел предупредить неприятности.

– Не упрямее других, – отвечал Иван Семеныч.

– А как ты отпорол Сидора Карпыча тогда, а? – приставал Овсянников. – Ну-ка, расскажи?

– И тебя бы отпорол, ежели бы ты так же сделал.

– Да ты расскажи, как дело было!..

– Ничего не было... Тогда я еще только на службу поступал в Мурмос, а Сидор Карпыч с Петром Елисеичем из-за границы приехали. Ну, Сидор Карпыч – свой хохол, в гостях друг у друга бывали, всякое прочее, да. А потом Сидор Карпыч нагрубил Луке Назарычу, а Лука Назарыч посылает его ко мне. Ну, что я буду делать с ним? Знакомый человек, хлеб-соль

⁸ «Посадить козла» на заводском жаргоне значит остудить доменную печь, когда в ней образуется застывшая масса из чугуна, шлаков и угля. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

водили, – ну, я ему и говорю: «Сидор Карпыч, теперь ты будешь бумаги в правление носить», а он мне: «Не хочу!» Я его посадил на три дня в темную, а он свое: «Не хочу!» Что же было мне с ним делать? Он меня подводил... Других я за это порол и его должен был отпороть. Служба. Для себя он заграничный, а для меня крепостной.

Сидор Карпыч сидел тут же за столом и равнодушно слушал рассказ Ивана Семеныча. Кто-то даже засмеялся над добродушным объяснением исправника, но в этот момент Нюрочка дико вскрикнула и, бледная как полотно, схватила отца за руку.

– Нюрочка, что с тобой? – расспрашивал Петр Елисеич, с недоумением глядя на всех.

– Папа... папочка... – шептала девочка, заливаясь слезами, – Иван Семеныч дрянной, он высек Сидора Карпыча...

Петр Елисеич на руках унес истерически рыдавшую девочку к себе в кабинет и здесь долго отваживался с ней. У Нюрочки сделался нервный припадок. Она и плакала, и целовала отца, и, обнимая его шею, все повторяла:

– Папочка, миленький, мне страшно... я боюсь... зачем Иван Семеныч дрянной?

Что мог объяснить Петр Елисеич чистой детской душе, когда этот случай был каплей в море крепостного заводского зла?

– Теперь все свободные, деточка, – шептал он, вытирая своим платком заплаканное лицо Нюрочки и не замечая своих собственных слез. – Это было давно и больше не будет...

Оставив с Нюрочкой горничную Катрю, Петр Елисеич вернулся к гостям. Радостный день был для него испорчен этим эпизодом: в душе поднялись старые воспоминания. Иван Семеныч старался не смотреть на него.

Х

По улицам везде бродил народ. Из Самосадки наехали пристановляне, и в Кержацком конце точно открылась ярмарка, хотя пьяных и не было видно, как в Пеньковке. Кержаки кучками проходили через плотину к заводской конторе, прислушивались к веселью в господском доме и возвращались назад; по глухо застегнутым на медные пуговицы полукафтаньям старинного покроя и низеньким валеным шляпам с широкими полями этих кержаков можно было сразу отличить в толпе. Крепкий и прижимистый народ, не скажет слова спроста.

Из гулявшей Пеньковки веселье точно перекинулось в Хохлацкий конец: не вытерпели старики и отправились «под горку», где стоял единственный кабак Дуньки Рачителихи. Да и как было сидеть по хатам, когда так и тянуло разузнать, что делается на белом свете, а где же это можно было получить, как не в Дунькином кабаке? Многие видели, как туда уже прошел дьячок Евгеньич, потом из господского дома задами прокрался караульщик Антип, завертывала на минутку проворная Домнушка и подвалила целая гурьба загулявших мастеров, отправившаяся с угощения из господского дома допивать на свои. Дунькин кабак был замечательным местом в истории Ключевского завода, как связующее звено между тремя концами. Общая работа на фабрике или в руднике не сблизала в такой степени, как галденье у кабацкой стойки. Любопытно было то, что теперь из кабака не погонит дозорный, как бывало раньше: хоть умри у стойки. Рудниковые приезжали уж в кабак верхами и забирали вино. Другие просто пришли потолкаться на народе и «послухать», что «гуторят добрые люди». Низенькое бревенчатое здание кабака точно присело к земле, выкинув к дороге гостеприимное крылечко, над которым вместо вывески была прибита небольшая елочка с покрасневшею хвоей. Часть кабацкой публики столпилась около этого крылечка, потому что в кабаке было уж оченьлюдно и не вдруг пробьешься к стойке, у которой ловко управлялась сама Рачителиха, видная и гладкая баба в кумачном сарафане.

У стойки беседовали сам Рачитель, вихлястый мужик в красной рубахе, и дьячок Евгеньич. Оба уже были заметно навеселе, и Рачителиха посматривала на них очень недружелюбно. Старички постепеннее заняли лавки около стен и вслух толковали про свои дела. Дверь была открыта, и новые гости входили и выходили сплошной толпой. Два маленьких оконца едва освещали эту галдевшую толпу; в воздухе висел табачный дым, и делалось жарко, как в бане. Небольшая захватанная дверка вела из-за стойки в следующую комнату, где помещалась вся домашность кабацкой семьи, а у целовальничихи было шестеро ребят и меньшенький еще ползал по полу. Приходившие гости почище забирались в эту комнату, а также и знакомые.

– Обезножила, поди, Дунюшка? – спрашивала Домнушка целовальничиху участливым тоном.

– Уж и то смаялась... А Рачитель мой вон с дьячком канпанию завел да с учителем Агапом. Нету на них пропасти, на окаянных!

Рачителиха знала, зачем прилетела Домнушка: из господского дома в кабак прошел кричный мастер Спирька Гуцин, первый красавец, которого шустрая стряпка давно подманивала и теперь из-за косячка поглядывала на него маслеными, улыбающимися глазами.

– Мало тебе машинной-то, несытые твои глаза? – попрекнула Рачителиха гостью. – У Спирьки своих кержанок много.

– А тебе завидно?

Красавец Спирька, польщенный заигрываньем Домнушки, выпил лишний стакан водки, молодежато крякнул и проворчал:

– Ишь мочеганки лупоглазые!.. Эй, Домна, выходи, я тебе одно словечко скажу. Чего спряталась, как таракан?

– Ступай к своим обушницам, нечего зубы-то мыть, – огрызалась Домнушка, вызываяще хихикая.

– Хошь стаканчик бальзану? – предлагал Спирька.

– Отойди, грех... Вот еще навязался человек, как короста!

– Н-но-о?.. Брысь, мочеганка!.. Но, бальзану хошь?

Домнушка поломалась для порядку и выпила. Очень уж ей нравился чистяк-мастер, на которого девки из Кержацкого конца все глаза проглядели.

Рачитель потащил дьячка к учителя в комнату, где ревели позабытые ребятишки.

– У, прощелыги!.. – обругала целовальничиха гостей вдогонку.

Худой, изможденный учитель Агап, в казинетовом пальтишке и дырявых сапогах, добыл из кармана кошелек с деньгами и послал Рачителя за новым полуштофом: «Пировать так пировать, а там пусть дома жена ест, как ржавчина». С этою счастливою мыслью были согласны Евгений и Рачитель, как люди опытные в житейских делах.

– Однова она, воля-то наша, прилетела... – говорил Рачитель, возвращаясь с полуштофом. – Вон как народ поворачивает с радости: скоро новую бочку починать... Агап, а батька своего видел? Тоже в кабак прибрел, вместе с старым Ковальчуком... Загуляли старики.

– А ну их! – отмахивался учитель костлявою рукой. – Разе они что могут понимать?.. Необразованные люди...

Действительно, в углу кабака, на лавочке, примостились старик хохол Дорох Ковальчук и старик туляк Тит Горбатый. Хохол был широкий в плечах старик, с целою шапкой седых волос на голове и маленькими серыми глазками; несмотря на теплое время, он был в полушубке, или, по-хохлацки, в кожухе. Рядом с ним Тит Горбатый выглядел сморчком: низенький, сгорбленный, с бородкой клинышком и длинными худыми руками, мотавшимися, как деревянные.

– И што тилько будет? – повторял Тит Горбатый, набивая нос табаком. – Ты, Дорох, как своею, этово-тово, головой полагаешь, а?

– Та я такочки вгадаю: чи були паны и будуть, чи були мужики и зостануться... Така в мене голова, Тит.

– А ты неладно, Дорох... нет, неладно! Теперь надо так говорить, этово-тово, што всякой о своей голове промышляй... верно. За барином жили – барин промышлял, а теперь сам доходи... Вот оно куда пошло!.. Теперь вот у меня пять сынов – пять забот.

– Нашел заботу, Тит... ха-ха!.. Одна девка стоит пятерых сынов... Пovyрастают большие, батьку и замена. Повертай, як хто хоче... Нэхай им, сынам. Була бы своя голова у каждого... Вот як кажу тоби, старый.

– Старичкам наше почтение! – здоровался с ними дозорный Самоварник. – Чего ворожите, старички?

– А так, Полуэخت, промежду себя балакаем, – уклончиво отвечал Тит, недолюбливавший пустого человека. – То то, то другое... Один говорит, а другой слушает, всего и работы...

– Верно, старички... верно, родимые.

Самоварник осмотрел кабацкую публику, уткнул руки в бока, так что черный халат из тонкого сукна болтался назади, как хвост, и, наклонив свое «шадриное» лицо с вороватыми глазами к старикам, проговорил вполголоса:

– Вот што, старички, родимые мои... Прожили вы на свете долго, всего насмотрелись, а скажите мне такую штуку: кто теперь будет у нас на фабрике робить, а?

Старики переглянулись, посмотрели на Полуэхта, известного заводского враля, и одновременно почесали в затылках: им эта мысль еще не приходила в голову.

– А кто в гору полезет? – не унимался Самоварник, накренивая новенький картуз на одно ухо. – Ха-ха!.. Вот оно в чем дело-то, родимые мои... Так, Дорох?

– Пранци твоему батьку, якое слово вывернул! – добродушно удивлялся Ковальчук и опять смотрел на Тита. – Уси запануем, а хто буде робить?

– Да меня на веревке теперь на фабрику не затащишь! – орал Самоварник, размахивая руками. – Сам большой – сам маленький, и близко не подходи ко мне... А фабрика стой, рудник стой... Ха-ха!.. Я в лавку к Груздеву торговать сяду, заведу сапоги со скрипом.

Около Самоварника собралась целая толпа, что его еще больше ободрило. Что же, пустой он человек, а все-таки и пустой человек может хорошим словом обмолвиться. Кто в самом деле пойдет теперь в огненную работу или полезет в гору? Весь кабак загалдел, как пчелиный улей, а Самоварник орал пуще всех и даже ругал неизвестно кого.

– Да, оно точно што тово... – повторял Тит Горбатый, ошеломленный общим галдением. – Оно действительно... Как ты думаешь, Дорох?

– А кажу бисова сына этому выворотню, Тит... Ото так!.. Пидем та и потягнем горилки, Тит, бо в мене голова як гарбуз.

XI

– Козак иде... шире дорогу! – кричал голос на улице.

– Ото дурень, Терешка мой... – самодовольно говорил старик Ковальчук, толкая локтем Тита Горбатого. – Такой уродивсь: дурня не выпрямишь.

Горбатый посмотрел на приятеля слезившимися глазами и покачал головой.

– Бачь, як разширився мой козак... го!.. – радовался Ковальчук, заглядывая в двери. – Запорожец, кажу бисова сына... Гей, Терешка!.. А батька не побачив, бисова дитына?

К старикам протолкался приземистый хохол Терешка, старший сын Дороха. Он был в кумачной красной рубаше; новенький чекмень, накинутый на одно плечо, тащился полой по земле. Смуглое лицо с русою бородкой и карими глазами было бы красиво, если бы его не портил открытый пьяный рот.

– А, это ты, батько!.. – проговорил Терешка, пошатываясь. – А я, батько, в козаки... запорожец... Чи нэма в вас, тату, горилки?

– Ото так, сынку... Доходи ближе, вже жь покажу тобі, пранцеватому, батькову горилку!.. Як потягну за чупрыну, тогда и будешь козак.

Терешка махнул рукой, повернулся на каблуках и побрел к стойке. С ним пришел в кабаке степенный, седобородый старик туляк Деян, известный по всему заводу под названием Поперешного, – он всегда шел поперек миру и теперь высматривал кругом, к чему бы «почипляться». Завидев Тита Горбатого, Деян поздоровался с ним и, мотнув головой на галдевшего Терешку, проговорил:

– Вот они, эти хохлы, какие: батьков в грош не ставят, а?.. Ты, Дорох, как полагаешь, порядок это али нет?

– Якого же тебе порядка треба? – удивлялся Дорох.

– Вот ты и толкуй с ними... – презрительно заметил Деян, не отвечая хохлу. – Отец в кабаке – и сын в кабаке, да еще Терешка же перед отцом и величается. Нашим ребятам повадку дают... Пришел бы мой сын в кабаке, да я бы из него целую сажень дров сделал!

– Верно... Это ты верно, Деян, этово-тово, – соглашался Тит Горбатый. – Надо порядок в доме, чтобы острастка... Не надо баловать парней. Это ты верно, Деян... Слабый народ – хохлы, у них никаких порядков в доме не полагается, а, значит, родители совсем ни в грош. Вот Дорох с Терешкой же и разговаривает, этово-тово, заместо того, штобы взять орясину да Терешку орясиной.

– Да за волосья! – добавлял Деян, делая правой рукой соответствующее движение. – Да по зубам!

– Можно и по зубам, – соглашался Тит.

– Одною рукой за волосья, а другою в зубы, – вот тебе и будет твой сын, а то... тьфу!.. Глядеть-то на них один срам.

– Одчепись, глиндра! – ругался старый Ковальчук, возмущенный назойливостью Деяна. – Поперешный человек... Побачимо, шо-то з ваших сынов буде, а наши до нас зостануться: свое лихо.

Эта размолвка стариков прекратилась сейчас же, как Деян отошел к стойке и пристал к Самоварнику.

– Друг ты мне или нет, Деян? – лез обниматься к нему подгулявший дозорный. – Родимый мой, вкусим по единой.

– Чему ты обрадовался! – отталкивал его Деян. – Воля нам, православным, вышла, а кержаков пуще того будут корчить... Обрадовались, обушники!.. А знаешь поговорку: «взвела собака на свою голову»?

– Родимый мой, а?.. Какое я тебе слово скажу, а?.. Кто Устюжанинову робить на фабрике будет, а?.. Родимый мой, а еще что я тебе скажу, а?..

В кабаке стоял дым коромыслом. Из дверей к стойке едва можно было пробиться. Одна сальная свечка, стоявшая у выручки, едва освещала небольшое пространство, где действовала Рачителиха. Ей помогал красивый двенадцатилетний мальчик с большими темными глазами. Он с снисходительной важностью принимал деньги, пересчитывал и прятал под стойку в стоявшую там деревянную «шкатунку».

– Илюшка, ты смотри, не просчитайся, – повторяла ему Рачителиха. – Получил, што ли, с Терешки?

– Не приставай, знаем без тебя, – небрежно отвечал мальчик и с важностью смотрел на напиравшую толпу. – Вон Деяну отпущай четушку. Дядя Деян, хошь наливки?

– Ах ты, клоп... А как ты матке сейчас ответил? – привязался к нему Поперешный. – Дунюшка, не поважай парнишка: теперь пожалеешь – после наплачешься от него.

– Ну, ну, у себя на печи командуй, – спокойно огрызнулся мальчик и лениво зевнул. – Экая прорва народу наперла!..

Время от времени мальчик приотворял дверь в комнату, где сидел отец с гостями, и сердито сдвигал брови. Дьячок Евгеньич был совсем пьян и, пошатываясь, размахивал рукой, как это делают настоящие регенты. Рачитель и учитель Агап пели козлиными голосами, закрывая от удовольствия глаза.

– «Многая, многая, многая лета... мно-о-о-га-ая ле-ее-та!» – вытягивал своим дребезжащим, жиденьким тенорком Евгеньич. – Ну, еще, братие... Агап, слушай: си-до-ре!.. А ты, Рачитель, подхватывай. Ну, братие... Илюшка, пострел, подавай еще водки, чего глядишь?

– Давай деньги... Даром-то гуси по воде плавают.

Тит Горбатый и старый Ковальчук успели еще раза два сходить к стойке и теперь вполне благодушествовали. Хохол достал кисет с табаком, набил тютюном люльку и попыхивал дымом, как заводская труба.

– Кум... а кум? – повторял Тит, покачиваясь на месте.

– Який я тоби кум? Ото выворачивае человик...

– Нет, ты постой, Дорох... Теперь мы так с тобой, этово-тово, будем говорить. Есть у меня сын Павел?

– Щось таке?

– Есть, говорю, сын у меня меньшей? Пашка сын, десятый ему годочек с спожинок пошел. Значит, Пашка... А у тебя, Дорох, есть дочь, как ее звать-то?.. Лукерьей дочь-то звать?

– Та нэт же: ни якой Лукерьи нэма... Старшая Матрена, удовая, ну, Катрина матка – Катря, цо у пана в горницах. Нэма Лукерьи.

– А меньшую-то как звать?

– Э, экий же ты, Тит, недогадливый: Федоркой звать.

– Так, так, Федорка... вспомнил. В нашем Туляцком конце видал, этово-тово, как с девчонками бегала. Славная девушка, ничего, а выправится – невеста будет.

– А то як же? У старого Коваля як дочка подрастет – ведмедица буде... У мене все дочки ведмедицы!

– Так, так... Так я тово, Дорох, про Федорку-то, значит, тово... Ведь жениха ей нужно будет приспособить? Ну, так у меня, значит, Пашка к тому время в пору войдет.

– Ну, нэхай ему, твоему Пашке... Усе хлопцы так: маленький, маленький, а потом вырасте большой дурень, як мой Терешка.

– Хочешь сватом быть, Дорох?.. Сейчас ударим по рукам – и дело свято... Пропьем, значит, твою девку, коли на то пошло!

– А ну вдарим, Тит... Ведмедица, кажу, Федорка буде!

Подгулявшие старики ударили по рукам и начали перекоряться относительно заклада, даров, количества водки и других необходимых принадлежностей всякой свадьбы.

– А ну поцалуемся, Тит, – предлагал Ковальчук и облапил будущего свата, как настоящий медведь. – Оттак!.. Да пойдем к Дуньке, пусть руки разнимет.

Пошатываясь, старики побрели прямо к стойке; они не заметили, что кабак быстро опустел, точно весь народ вымели. Только в дверях нерешительно шушукались чьи-то голоса. У стойки на скамье сидел плечистый мужик в одной красной рубахе и тихо разговаривал о чем-то с целовальничихой. Другой в чекмене и синих пестрядинных шароварах пил водку, поглядывая на сердитое лицо целовальничихина сына Илюшки, который косился на мужика в красной рубахе.

– Дунька... А вот разойми у нас руки: сватами будем, – заговорил Тит Горбатый, останавливаясь у стойки.

Взглянув на мужика в красной рубахе, он так и проглотил какое-то слово, которое хотел сказать. Дорох во-время успел его толкнуть в бок и прошептал:

– Сват, бачишь?.. Эге, Окулко...

Но сват уже пятился к дверям, озираясь по сторонам: Окулко был знаменитый разбойник, державший в страхе все заводы. В дверях старики натолкнулись на дурака Терешку и Парасковею-Пятницу, которых подталкивали в спину другие.

– Эге, сват, пора втыкать до дому, – шептал Ковальчук, выскакивая на крыльцо. – Оттак Дунька... Другий-то тоже разбойник: Беспалого слышал?

XII

Беспалый попрежнему стоял у стойки и сосредоточенно пил водку. Его сердитое лицо с черноватой бородкой и черными, как угли, глазами производило неприятное впечатление; подстриженные в скобку волосы и раскольничьего покроя кафтан говорили о его происхождении – это был закоснелый кержак, отрубивший себе палец на правой руке, чтобы не идти под красную шапку.⁹ Окулко был симпатичнее: светло-русая окладистая бородка, серые большие глаза и шапка кудрявых волос на голове. К ним подошел третий товарищ, хохол Чельш, громадный мужик с маленькою головкой, длинными руками и сутулою спиной, как у всех силачей.

– Где ты пропадал, Чельш? – окликнул его Окулко.

– А до господского дома ходив, – вяло ответил хохол и знаком приказал целовальничихе подать целый полуштоф водки. – Паны гуляют у господском доме, – ну, я на исправника поглядел... Давно не видались.

Воцарившаяся в кабаке тишина заставила дьячка Евгеньича высунуть голову. Увидав разбойников, он поспешил мгновенно скрыться, точно кто его ударил. Окулко продолжал сидеть у стойки и сумрачно поглядывал на Рачителиху.

– Нашли тоже и время прийти... – ворчала та, стараясь не смотреть на Окулка. – Народу полный кабак, а они лезут... Ты, Окулко, одурел совсем... Возьму вот, да всех в шею!.. Какой народ-то, поди уж к исправнику побежали.

– А Самоварник у встречу попался: бегит-бегит к господскому дому, – смеялся Чельш, расправляя усы. – До исправника побег, собачий сын, а мы що зусеем покантовать, Дуня.

– Пора кабак запирать, вот что! – не вытерпел, наконец, Илюшка, вызывающе поглядывая на кутивших разбойников. – Ступайте, откуда пришли...

– Вишь змееныш! – взбурил Окулко и ударил кулаком по стойке.

Целовальничиха посмотрела на него умоляющим взглядом и вся покраснела, точно он ударил ее этим словом по сердцу. Она так и обмерла давеча, когда у стойки точно из земли вырос Окулко. И каждый раз так, а он сидит и смотрит на нее. О, как любила когда-то она вот эту кудрявую голову, сколько приняла из-за нее всякого сраму, а он на свою же кровь поднимается... Вон как на Илюшку взбурил, как медведь. Но это было минутное чувство: Дуня забыла о себе и думала теперь об этих разбойниках, которым одна своя воля осталась. Бабе сердце так и зануло от жалости, и целовальничиха смотрела на всех троих такими ласковыми глазами. Не будет воли вот этим отпетым, забубенным головушкам да бабам...

– Окулко, ступай, коли ум есть, – ласково прошептала она, наклоняясь к разбойнику. – Сейчас народ нагонят... неровен час...

– Тошно мне, Дунюшка... – тихо ответил Окулко и так хорошо посмотрел на целовальничиху, что у ней точно что порвалось. – Стосковался я об тебе, вот и пришел. Всем радость, а мы, как волки, по лесу бродим... Давай водки!

Чельш и Беспалый в это время шептались относительно Груздева. Его теперь можно будет взять, потому как и остановился он не у Основы, а в господском доме. Антип обещал подать весточку, по какой дороге Груздев поедет, а он большие тысячи везет с собой. Антип-то ловко все разведаль у кучера: водку даве вместе пили, – ну, кучер и разболтался, а обережного обещался напоить. Проворный черт, этот Матюшка Гушин, дай бог троим с ним одним управиться.

– Работишка будет... – толкнул Беспалый разнежившегося Окулка. – Толстое брюхо поедет.

⁹ ...чтобы не идти под красную шапку – то есть чтобы избавиться от военной службы.

В это время, пошатываясь, в кабак входил Антип. Он размахивал шапкой и напевал крепостную московскую песню, которую выучил в одном сибирском остроге:

Собаки борзые,
Крестьяне босые...

Разбойники не обратили на него никакого внимания, как на незнакомого человека, а Беспалый так его толкнул, что старик отлетел от стойки сажени на две и начал ругаться.

– А ты не дерись, слышишь? – приставал Антип к Беспалому, разыгрывая постороннего человека. – Мы и сами сдачи дадим мелкими...

Подбодренные смелостью старика, в дверях показались два-три человека с единственным заводским вором Мороком во главе. Они продолжали подталкивать дурачка Терешку, Парасковеею-Пятницу и другого дурака, Марзака, высокого старика с лысою головою. Морок, плечистый мужик с окладистой бородой и темными глазами навыкате, слыл за отчаянную башку и не боялся никого. С ним под руку ворвался в кабак совсем пьяный Терешка-казак.

– Сорок восемь серебром... приказываю... – бормотал Терешка и полез к стойке.

– Терешка, хочешь водки? – окликнул его Окулко. – Рачителиха, давай им всем по стакану... Парасковеея, аль не узнала?.. Наливай еще по стакану! – командовал развеселившийся Окулко. – Всем воля вышла... Гуляй на все, сдачи не будет.

– Окулко, возьмите меня с собой козаковать? – приставал к разбойнику Терешка-казак, не понимавший, что делает. – Я верхом поеду... Теперь, брат, всем воля: не тронь!

– У нас хлеб дорогой, а ты глуп. Нет, брат, нам с тобой не по пути... – отвечал Окулко, чутко прислушиваясь к каждому звуку.

– Я?.. Запорожец... эге!.. Хочешь, потянемся на палке...

– Ступай к своему батьке да скажи ему, чтобы по спине тебя вытянул палкой-то... – смеялся Окулко. – Вот Морока возьмем, ежели пойдет, потому как он промыслит и для себя и для нас. Так я говорю, Морок?

– Угости стаканчиком, Окулко!

– Ах ты, горе гороховое!.. Рачителиха, лени ему стаканчик... Пусть с Парасковееей повеселятся в мою голову. А давно тебя били в последний раз, Морок?

– Третьева дни... Так взбодрили, что страсть.

– За какие качества?

– А так... Сапоги нашли... Знаешь Самоварника? Ну, так его сапоги... Только как жив остался – удивительно!

Морок был удивительный человек, умевший отбиться от работы даже в крепостное время. Он произошел все заводские работы, какие только существовали, и нигде не мог ужиться. Сначала как будто и работает, а потом все бросит, и его гонят в три шеи. Окончательно Морок отбил от господской работы, когда поставили на руднике паровую машину. «Что я за собака, чтобы на свист стал ходить?» – объявил Морок и не стал ходить на работу. Что с ним ни делали, он устоял на своем. Сам Палач отказался от Морока. Добившись воли, Морок превратился в кабацкого завсегда и слыл по заводу, как единственный вор. Он ходил в лохмотьях, но держался гордо, как свободный человек. И теперь, выпив стакан водки, он тряхнул своею косматою бородой, хлопнул Окулка по плечу и проговорил:

– Вот я, Окулко, раньше всех волю получил... Уж драли-драли, тиранили-тиранили, Палач выбился из сил, а я все-таки устоял... Вот каков я есть человек, Окулко!.. Разе ищю ошарашить стаканчик за твое здоровье? Больно уж меня избил третьева дни... на смерть били.

Окулко только мотнул головой Рачителихе, и та налила Мороку второй стаканчик. Она терпеть не могла этого пропойцу, потому что он вечно пьянствовал с Рачителем, и теперь смотрела на него злыми глазами.

В кабаке после недавнего затишья опять поднялся шум. Пьяный Терешка-казак орал песни и обнимался с Чельшем, Марзак и Парасковей-Пятница горланили песни, дурачок Терешка хохотал, как сумасшедший.

– Над чем ты хохочешь, Терешка? – спрашивала его участливо Рачителиха.

– Весело, браковка... – отвечал дурачок и, протянув руку с деревянной коробкой, прибавил: – Часы купи... днем и ночью ходят...

Коробка была выдолблена из куска дерева и закрыта крышкой. Отодвинув крышку, Терешка показал бегавшего в коробке таракана и опять залился своим детским смехом. Всех мужиков он звал Иванычами, а баб – браковками.

Захмелевший Морок подсел к Окулку и, облапив его одной рукой, заговорил:

– Ну, как вы теперь, Окулко?.. Всем вышла воля, а вы всё на лесном положении... Так я говорю?

ХІІІ

После веселого обеда весь господский дом спал до вечернего чая. Все так устали, что на два часа дом точно вымер. В сарайной отдыхали Груздев и Овсянников, в комнате Луки Назарыча почивал исправник Иван Семеныч, а Петр Елисеич прилег в своем кабинете. Домнушка тоже прикорнула у себя в кухне. Бодрствовали только дети.

Нюрочка спряталась в кабинете отца и хотела здесь просидеть до вечера, пока все не проснутся: она боялась Васи. Ей сделалось ужасно скучно и еще не улеглось нервное состояние после рассказа Ивана Семеныча за обедом, как он высек Сидора Карпыча. Окружавшая ее тишина усиливала невидимую душевную работу. Под конец Нюрочка расплакалась, сидя тихонько в своем уголке, как плачут сироты. В этот критический момент дверь в кабинете осторожно отворилась и в нее высунулась кудрявая русая головка Васи, – она что-то шептала и делала таинственные знаки. Нюрочка отлично понимала этот немой язык, но только отрицательно покачала головой. Знаки повторились с новой силой, и Васина голова делала такие умогательные гримасы, что Нюрочка рассмеялась сквозь слезы. Это ее погубило. Голова сначала показала ей язык, а потом приняла хныкающее выражение. Осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить спавшего отца, Нюрочка вышла из своей засады и подошла к двери.

– Ты опять будешь драться? – спросила она на всякий случай.

– А ты плакса... – шепотом ответила голова, и это показалось Нюрочке настолько убедительным, что она вышла из кабинета.

Очутившись за дверью, она вдруг струсила; но Вася и не думал ее бить, а только схватил за руку и стремительно потащил за собой.

– Пойдем, Нюра, я тебе покажу такую штуку... – задыхающимся шепотом повторял он.

Глаза у пристанского разбойника так и горели, и охватившее его воодушевление перешло Нюрочке, как зараза. Она шла теперь за Васей, сама не отдавая себе отчета. Они сначала вышли во двор, потом за ворота, а через площадь к конторе уже бежали бегом, так что у Нюрочки захватывало дух.

– Вот так штука!.. – повторял Вася, задыхаясь от волнения.

Они прибежали в контору. Через темный коридор Вася провел свою приятельницу к лестнице наверх, где помещался заводский архив. Нюрочка здесь никогда не бывала и остановилась в нерешительности, но Вася уже тащил ее за руку по лестнице вверх. Дети прошли какой-то темный коридор, где стояла поломанная мебель, и очутились, наконец, в большой низкой комнате, уставленной по стенам шкапами с связками бумаг. Все здесь было покрыто толстым слоем пыли, как и следует быть настоящему архиву.

– А это что? – торжественно объявил Вася, указывая на громадный черный щит из картона, на котором был вырезан вензель, подклеенный зеленою и красною бумагой.

Нюрочка еще никогда не видала вензелей и с удивлением смотрела на эту мудреную штуку, пока Вася объяснял ей его значение и заставлял пощупать и картон, и бумагу, и полочку для свечей на задней стенке вензеля.

– Все это зажгут, – объяснял Вася тоном знатока. – Плошки приготовлены в машинной... А мы будем кричать «ура», и твой папа и мой – все.

Нюрочке вдруг сделалось ужасно весело, и Вася в ее глазах совсем изменился. Ей даже нравилось ничего не думать, а слепо подчиняться чужой воле. Она чувствовала то же сладко-замирающее ощущение, как на высоких качелях. Когда же, наконец, наступит вечер и зажгут иллюминацию? Ей казалось, что она просто не доживет до этого, и маленькое сердце замирало от волнения. Дальше все происходило в каком-то тумане: Вася водил свою спутницу по всей конторе, потом они бегали на плотину, где так ужасно шумела вода, и, наконец, очутились на крыше господского дома. Как случилось это последнее, Нюрочка не могла объяснить. Одна

она умерла бы от страха, а за Васей карабкалась везде, как коза, и была счастлива, если он ее одобрял взглядом или жестом.

Петра Елисеича разбудила Катря, объясняя своим ломаным хохлацким говором, что панночка на крыше и ни за что не хочет спуститься оттуда.

– Нюрочка? На крыше? – повторял машинально Петр Елисеич, ничего не понимая.

– Аж страшно глядеть... – объясняла Катря.

– Не может быть! – решил он. – Ты что-нибудь путаешь...

Когда он вышел на двор, то действительно увидел Нюрочку, которая в своем желтом платьице карабкалась по самому коньку крыши. У него даже замерло сердце от ужаса... А Нюрочка улыбалась ему с крыши, напрасно отыскивая глазами своего веселого спутника, – пристанской разбойник, завидев Петра Елисеича, с ловкостью обезьяны кубарем скатился по крыше, прыгнул на росшую в саду липу, а по ней уже добрался благополучно до земли. Нюрочка увидела его уже в саду; он опять кривлялся и показывал ей язык, а она только сейчас поняла свою полную беспомощность, и давешний страх опять охватил ее. Снял ее с крыши уже кучер Семка.

– Ах ты, коза, коза... – ласково журил ее Петр Елисеич. – Так нельзя, Нюрочка.

Петр Елисеич в радостном волнении унес Нюрочку на руках в комнату и заставил наливать себе чай, – в столовой уже кипел на столе самовар.

Господский дом проснулся как-то разом, и опять в нем закипело веселье, на время прерванное сном. Иван Семеныч потребовал себе пунша, потому что у него голова требовала починки. Потом стали пить пунш все, а на дворе опять появились кафтанники, лесообъездчики и разный другой заводский люд.

– Ах ты, француз, француз!.. – говорил исправник, хлопая Петра Елисеича по плечу. – Ну-ка, расскажи, как ты с французским королем в Париже обедал?

– Давно это было, Иван Семеныч, позабыл, – отнекивался Петр Елисеич.

– Сегодня можно и припомнить... Да ну же, ангел мой, расскажи!..

– Да самая простая вещь: все первые ученики, кончившие курс в Ecole polytechnique,¹⁰ обедали с королем... Такой обычай существовал, а Луи-Филипп был добряк. Ну, и я обедал...

– А страшно было, ангел мой? Ну, признайся... хе-хе!.. Какой-нибудь кержак из Самосадки и вдруг обедает за одним столом с французским королем. Это, черт возьми, ангел мой... Ты как полагаешь, Самойло Евтихыч?

– А?... Выпьем!.. – как-то мычал Груздев; он редко пил и под влиянием вина превращался из бойкого и говорливого человека в меланхолика.

Нюрочка перебежала из столовой в залу и смотрела в окно на галдевшую на дворе толпу. Ей опять было весело, и она только избегала встречаться с Иваном Семенычем, которого сразу разлюбила. Добрый старик замечал эту детскую ненависть и не знал, как опять подружиться с Нюрочкой. Улучив минуту, когда она проходила мимо него, он поймал ее за какую-то оборку и прошептал, указывая глазами на Овсянникова:

– Писанка, ну, спроси у его про часы...

В другое время Нюрочка не посмела бы обратиться к сердитому и недовольному секретарю Луки Назарыча, но сейчас на нее накатила шаловливый стих.

– Илья Савельич, покажите часы!.. – звонко проговорила она, развязно подходя к угрюмому человеку.

Овсянников дремал за стаканом пунша, когда Нюрочка подбежала к нему, и с удивлением посмотрел на нее. Слово «часы» сразу подняло его на ноги. Он достал их из кармана жилета, вытер платком и начал объяснять необыкновенные достоинства.

¹⁰ Политехнической школе (франц.).

– Анкерные-с... с парашютом... – повторял он, показывая Нюрочке внутреннее устройство часов.

У закостеневшего на заводской работе Овсянникова была всего единственная слабость, именно эти золотые часы. Если кто хотел найти доступ в его канцелярское сердце, стоило только завести речь об его часах и с большею или меньшею ловкостью похвалить их. Эту слабость многие знали и пользовались ею самым бессовестным образом. На именинах, когда Овсянников выпивал лишнюю рюмку, он бросал их за окно, чтобы доказать прочность. То же самое проделал он и теперь, и Нюрочка хохотала до слез, как сумасшедшая.

– Ото дурень! – шептал ей Иван Семеныч, стараясь обнять. – А ты все еще сердисься на меня, писанка?

– Вы – злой... – отвечала Нюрочка, стараясь побороть в себе зарождающуюся симпатию к Ивану Семенычу. – Нехороший...

Нюрочка совсем не заметила, как наступил вечер, и пропустила главный момент, когда зажигали иллюминацию, главным образом, когда устанавливали над воротами вензель. Как весело горели плашки на крыше, по карнизам, на окнах, а собравшийся на площади народ кричал «ура». Петр Елисеич разошелся, как никогда, и в окно бросал в народ медные деньги и пряники.

– Песенников!.. – скомандовал он кому-то из дозорных.

Скоро под окнами образовался круг, и грянула проголосная песня. Певцы были все кержаки, – отличались брательники Гуцины. Обережной Груздева, силач Матюшка Гуцин, достал берестяной рожок и заводил необыкновенно кудрявые колена; в Ключевском заводе на этом рожке играли всего двое, Матюшка да доменный мастер Никитич. Проголосная песня полилась широкою рекой, и все затихло кругом.

Не взвивайся, мой голубчик,
Да выше лесу, выше гор...

– выводил чей-то жалобный фальцетик, а рожок Матюшки подхватывал мотив, и песня поднималась точно на крыльях. Мочеганка Домнушка присела к окну, подперла рукой щеку и слушала, вся слушала, – очень уж хорошо поют кержаки, хоть и обушники. У мочеган и песен таких нет... Свое бабье одиночество обступило Домнушку, непокрытую головушку, и она растужилась, расплакалась. Нету дна бабьему горюшку... Домнушка совсем забылась, как чья-то могучая рука обняла ее.

– Не весь голову, не печаль хозяина... – ласково проговорил над самым ее ухом голос красавца Спирьки Гуцина.

Домнушка не двинулась, точно она вся застыла, очарованная проголосною старинною песней.

Какое-то стихийное веселье охватило весь господский дом. Иван Семеныч развернулся и потребовал песенников в горницы, а когда круг грянул:

Уж ты, зимонька-зима,
Студеная была зима!

– он пошел вприсядку с Васей Груздевым, который плясал, как скоморох.

– Куму подавайте!.. – кричал Иван Семеныч. – Где кума?

Притащили Домнушку из кухни и, как она ни упиралась, заставили выпить целый стакан наливки и поставили в круг. Домнушка вытерла губы, округлила правую руку и, помахивая своим фартуком, поплыла павой, – плясать была она первая мастерица.

– Ах, ешь тебя мухи с комарами! – кричал Иван Семеныч, избочениваясь и притопывая ногами на месте. – Ахти... хти, хти...

Он только что хотел выделывать свое колено, как в круг протиснулся Полуэخت Самоварник и остановил его за плечо.

– Родимый мой... – бормотал он, делая какие-то знаки.

– Ну, и нашел время, – ворчал Иван Семеныч.

Круг замолк, Домнушка унырнула в свою кухню, а Самоварник шептал исправнику:

– В кабаке все трое... Вот сейчас провалиться, своим глазам видел: и Окулко, и Чельш, и Беспалый...

– Я им покажу, ангел мой...

Набат точно вымел весь народ из господского дома, остались только Домнушка, Катря и Нюрочка, да бродил еще по двору пьяный коморник Антип. Народ с площади бросился к кабаку, – всех гнало любопытство посмотреть, как будет исправник ловить Окулка. Перепуганные Катря и Нюрочка прибежали в кухню к Домнушке и не знали, куда им спрятаться.

– Я боюсь... боюсь... – плакала Нюрочка. – Все убежали...

– Христос с нами, барышня, – уговаривала девочку захмелевшая от наливки Домнушка. – Легкое место сказать: весь завод бросился ловить одного Окулка... А он уйдет от них!

– Он с ножом, Домнушка?

– Конечно, с ножом, потому как в лесу живет... Тьфу!.. Не пымать им Окулка... Туда же и наш Аника-то воин потрепался, Иван-то Семеныч!..

Замирающею трелью заливался колокол у заводской конторы, как звонили только на пожар. Вскинулась за своею стойкой Рачителиха, когда донесся до нее этот звук.

– Чу, это нам благовестят!.. – проговорил Беспалый, пряча руку за пазуху, где лежал у него нож.

– Уходи, уходи... – шептала Дуня, хватая Окулка за его могучее плечо и напрасно стараясь сдвинуть с места.

– Не впервой... – лениво ответил Окулко. – Давай водки, Дуня.

Замерло все в кабаке и около кабака. Со стороны конторы близился гулкий топот, – это гнали верхами лесообъездчики и исправничьи казаки. Дверь в кабаке была отворена попрежнему, но никто не смел войти в нее. К двум окнам припали усадые казачьи рожи и глядели в кабак.

Когда к кабаку подъехал Иван Семеныч, единственная сальная свеча, горевшая на стойке, погасла и наступила зловеющая тишина.

– Берите его! – кричал Иван Семеныч, бросаясь в дверь.

В мгновение ока произошла невообразимая свалка. Зазвенели стекла в окнах, полетели откуда-то поленья, поднялся крик и отчаянный свист.

– Вяжи их, ангелы вы мои!.. – кричал Иван Семеныч, перелезая к стойке по живой куче катавшихся по полу мужицких тел.

– Готово!.. – отвечал Матюшка Гушин, который бросился в кабак в числе первых и теперь пластом лежал на разбойнике. – Тут ён, вашескорodie... здесь... Надо полагать, самый Окулко и есть!

Разбойник делал отчаянные усилия освободиться: бил Матюшку ногами, кусался, но все было напрасно.

– Всех перевязали? – спрашивал в темноте охриплый голос Ивана Семеныча.

– Усех, вашескорodie... – отвечал голос туляка-лесообъездчика.

Когда добыли огня и осветили картину побоища, оказалось, что вместо разбойников перевязали Терешку-казака, вора Морока и обоих дураков.

– Который Окулко? – спрашивал Иван Семеныч.

Все сконфуженно молчали. Иван Семеныч, когда узнал, в чем дело, даже побелел от злости и дрожащими губами сказал Рачителихе:

– Ну, душа моя, я тебя сейчас так посеребряю, что...

Но он во-время опомнился, махнул рукой и вышел из кабака.

– Пусть эти подлецы переночуют в машинной, – указал он на связанных, а потом обернулся, выругал Рачителиху, плюнул и вышел.

Окулко в это время успел забраться в сарайную, где захватил исправничий чемодан, и благополучно с ним скрылся.

XIV

Набат поднял весь завод на ноги, и всякий, кто мог бежать, летел к кабаку. В общем движении и сумятице не мог принять участия только один доменный мастер Никитич, дождавшийся под домной выпуска. Его так и подмывало бросить все и побежать к кабаку вместе с народом, который из Кержацкого конца и Пеньковки бросился по плотине толпами.

Убежит Никитич под домну, посмотрит «в глаз»,¹¹ откуда сочился расплавленный шлак, и опять к лестнице. Слепень бормотал ему сверху, как осенний глухарь с листвени.

– Кто-нибудь завернет, тогда узнаем, – решил Никитич, окончательно удаляясь на свой пост.

В доменном корпусе было совсем темно, и только небольшое слабо освещенное пространство оставалось около напряженно красневшего глаза. Заспанный мальчик тыкал пучком березовой лучины в шлак, но огонь не показывался, а только дымилась лучина, с треском откидывая тонкие синеватые искры. Когда, наконец, она вспыхнула, прежде всего осветилась глубокая арка самой печи. Направо в земле шла под глазом канавка с порогом, а налево у самой арки стояла деревянная скамеечка, на которой обыкновенно сидел Никитич, наблюдая свою «хозяйку», как он называл доменную печь.

– Да ты откуда объявился-то, Сидор Карпыч? – удивился Никитич, только теперь заметив сидевшего на его месте сумасшедшего.

– А пришел...

– Знаю, что пришел... Михалко, посвети-ка на изложницы, все ли канавки проделаны...

Сидор Карпыч каждый вечер исправно являлся на фабрику и обходил все корпуса, где шла огненная работа. К огню он питал какое-то болезненное пристрастие и по целым часам неподвижно смотрел на плававшие кричные огни, на раскаленные добела пудлинговые печи, на внутренность домны через стеклышко в фурме, и на его неподвижном, бесстрастном лице появлялась точно тень пробежавшей мысли. В застывшем лице на мгновение вспыхивало сознание и так же быстро потухало, стоило Сидору Карпычу отвернуться от яркого света. Теперь все корпуса были закрыты, кроме доменного, и Сидор Карпыч смотрел на доменный глаз, светившийся огненно-красною слезой. Рабочие так привыкли к безмолвному присутствию «немого», как называли его, что не замечали даже, когда он приходил и когда уходил: явится, как тень, и, как тень, скроется.

Теперь он наблюдал колеблющееся световое пятно, которое ходило по корпусу вместе с Михалкой, – это весело горел пук лучины в руках Михалки. Вверху, под горбившеюся запыленной железной крышей едва обозначались длинные железные связи и скрепления, точно в воздухе висела железная паутина. На воротах, который опускал над изложницами блестящие от частого употребления железные цепи, дремали доменные голуби, – в каждом корпусе были свои голуби, и рабочие их прикармливали.

– Мир вам – и я к вам, – послышался голос в дверях, и показался сам Полуэخت Самоварник в своем кержацком халате, форсисто перекинутом с руки на руку. – Эй, Никитич, родимый мой, чего ты тут ворожишь?

– Ты из кабака, Полуэخت?

– Было дело... Ушел Окулко-то, а казаки впотьмах связали Морока, Терешку Ковальчука, да Марзака, да еще дурачка Терешку. Чистая галуха!¹²

– Так и ушел?

– Ушел, да еще у исправника чемодан прихватил, родимый мой.

¹¹ Глазом у доменной печи называют отверстие для выпуска шлаков и чугуна. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

¹² На фабричном жаргоне «галуха» – умора. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

– Н-ноо?.. Ловко!

Полуэхт посмотрел на Никитича и присел на скамеечку, рядом с Сидором Карпычем, который все следил за горевшей лучиной и падавшими от нее красными искрами.

– Ну, как твоя хозяйка? – спрашивал Самоварник, чтобы угодить Никитичу, который в своей доменной печи видел живое существо.

– Пошаливать начинает для праздника... – ответил Никитич и, подойдя к деревянной полочке с пробой, показал свежий образчик. – Половик выкинула, потому не любит она наших праздников.

Самоварник посмотрел пробу и покачал головой. Лучшим чугуном считался серый, потому что легко идет в передел, а белый плохим; половиком называют средний сорт.

– Наверху, видно, празднуют... – глубокомысленно заметил Самоварник, поднимая голову кверху. – Засыпки и подсыпки¹³ плохо робят. Да и то сказать, родимый мой, суди на волка, суди и по волку: все загуляли.

К разговаривавшим подошел казачок Тишка, приходившийся Никитичу племянником. Он страшно запыхался, потому что бежал из господского дома во весь дух, чтобы сообщить дяде последние новости, но, увидев сидевшего на скамейке Самоварника, понял, что напрасно торопился.

– Ну что, малец? – спрашивал Никитич, зажигая новый пук лучины.

– Все то же... У нас в дому дым коромыслом стоит: пируют страсть!

– И Окулка не боится?

– Антипа заставили играть на балалайке, а Груздев пляшет с Домнушкой... Вприсядку так и зажаривает, только брюхо трясется. Даве наклался было плясать исправник, да Окулко помешал... И Петр Елисеич наш тоже вот как развернулся, только платочком помахивает.

– Вот что, Никитич, родимый мой, скажу я тебе одно словечко, – перебил мальчика Самоварник. – Смотрю я на фабрику нашу, родимый мой, и раскидываю своим умом так: кто теперь Устюжанинову робить на ней будет, а? Тоже вот и медный рудник взять: вся Пеньковка расползется, как тараканы из лукошка.

– Как ты сказал? – удивился Никитич и даже опустил зажженную лучину, не замечая, что у него уже начала тлеть пола кафтана.

– Я говорю, родимый мой: кто Устюжанинову робить будет? Все уйдут с огненной работы и с рудника тоже.

Никитич только теперь понял все значение вопроса и совершенно остолбенел.

– Теперь вольны стали, не заманишь на фабрику, – продолжал Самоварник уже с азартом. – Мочегане-то все поднялись даве, как один человек, когда я им сказал это самое словечко... Да я первый не пойду на фабрику, плевать мне на нее! Я торговать сяду в лавку к Груздеву.

– Постой, постой... – остановил его Никитич, все еще не имея сил совладать с мыслью, никак не хотевшей укладываться в его заводскую голову. – Как ты сказал: кто будет на фабрике робить?

– Да я первый!.. Да мне плевать... да пусть сам Устюжанинов жарится в огненной-то работе!..

Довольный произведенным впечатлением, Самоварник поднялся на ноги и размахивал своим халатом под самым носом у Никитича, точно петух. Казачок Тишка смотрел своими большими глазами то на дядю, то на развоевавшегося Самоварника и, затаив дыхание, ждал, что скажет дядя.

¹³ Засыпки и подсыпки – рабочие, которые засыпают в печь уголь, руду и флюсы. (Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряка.)

– А как же, например, моя-то домна останется? – накинулся Никитич с азартом, – для него вдруг сделалось все совершенно ясно. – Ну, как ее оставить хоть на час?.. Сейчас козла посадишь – и конец!

– Хошь десять козлов сади, черт с ней, с твоею домной!

– Ну, нет, брат, это уж ты врешь, Полуэшт! Я теперь тридцать лет около нее хожу, сколько раз отваживался, а тут вдруг брошу за здорово живешь.

– И бросишь, когда все уйдут: летухи, засыпки, печатальщики... Сиди и любуйся на нее, когда некому будет робить. Уж мочегане не пойдут, а наши кержаки чем грешнее сделались?

– Врешь, врешь!.. – орал Никитич, как бешеный: в нем сказался фанатик-мастеровой, выросший на огненной работе третьим поколением. – Ну, чего ты орешь-то, Полуэшт?.. Если тебе охота – уходи, черт с тобой, а как же домну оставить?.. Ну, кричные мастера, обжимочные, пудлинговые, листокатальные... Да ты сбесился никак, Полуэшт?

Казачок Тишка вполне понимал дядю и хохотал до слез над Самоварником, который только раскрывал рот и махал руками, как ворона, а Никитич на него все наступает, все наступает.

– Ты его в ухо засвети, дядя! – посоветовал Тишка. – Вот так галуха, братцы...

– Меня не будет, Тишка пойдет под домну! – ревел Никитич, оттесняя Самоварника к выходу. – Сынишка подрастет, он заменит меня, а домна все-таки не станет.

– Да ведь и сына-то у тебя нет! – кричал Самоварник.

– Все равно: дочь Оленку пошлю.

Этот шум обратил на себя внимание литухов, которые тоже бегали в кабак ловить Окулка и теперь сбились в одну кучку в воротах доменного корпуса. Они помирали со смеху над Самоварником, и только один Сидор Карпыч был невозмутим и попрежнему смотрел на красный глаз печи.

Эта сцена кончилась тем, что Самоварник обругал Никитича варнаком и убежал.

XV

Праздник для Петра Елисеича закончился очень печально: неожиданно расхворалась Нюрочка. Когда все вернулись из неудачной экспедиции на Окулка, веселье в господском доме закипело с новой силой, – полились веселые песни, поднялся гам пьяных голосов и топот неистовой пляски. Петр Елисеич в суматохе как-то совсем забыл про Нюрочку и вспомнил про нее только тогда, когда прибежала Катря и заявила, что панночка лежит в постели и бредит.

– Папочка, мне страшно, – повторяла девочка. – Окулко придет с ножом и зарежет нас всех.

Комната Нюрочки помещалась рядом с столовой. В ней стояли две кровати, одна Нюрочкина, другая – Катри. Девочка, совсем раздетая, лежала в своей постели и показалась Петру Елисеичу такую худенькой и слабой. Лихорадочный румянец разошелся по ее тонкому лицу пятнами, глаза казались темнее обыкновенного. Маленькие ручки были холодны, как лед.

– Я посижу с тобой, моя крошка, – успокаивал больную Петр Елисеич.

– С тобой я не боюсь, папа, – шептала Нюрочка, закрывая глаза от утомления.

Пульс был нехороший, и Петр Елисеич только покачал головой. Такие лихорадочные припадки были с Нюрочкой и раньше, и Домнушка называла их «ростучкой», – к росту девочка скудается здоровьем, вот и все. Но теперь Петр Елисеич невольно припомнил, как Нюрочка провела целый день. Вообще слишком много впечатлений для одного дня.

– Папочка, его очень били? – неожиданно спросила Нюрочка, продолжая лежать с закрытыми глазами.

– Нет, Окулко убежал...

– Куда же он убежал, папочка?.. Ведь теперь темно... Я знаю, что его били. Вот всем весело, все смеются, а он, как зверь, бежит в лес... Мне его жаль, папочка!..

– Да ведь ты его боишься и другие боятся тоже, поэтому и ловили.

– А если бы поймали, тогда Иван Семеныч высек бы его, как Сидора Карпыча?

– Не нужно об этом думать, глупенькая. Спи...

– Когда тебя нет, папочка, мне ужасно страшно делается, а когда ты со мной, мне опять жаль Окулка... отчего это?..

Разгулявшиеся гости не нуждались больше в присутствии хозяина, и Петр Елисеич был рад, что может, наконец, отдохнуть в Нюрочкиной комнате. Этот детский лепет всегда как-то освежающе действовал на него. В детском мозгу мысль просыпалась такая же чистая и светлая, как вода где-нибудь в горном ключике. Вот и теперь встревоженный детский ум так трогательно ищет опоры, разумного объяснения и, главное, сочувствия, как молодое растение тянется к свету и теплу. Чтобы отец не ушел, Нюрочка держала его руку за палец и так дремала.

– Ты здесь, папочка?

– Я здесь, Нюрочка.

Детское лицо улыбалось в полусне счастливою улыбкой, и слышалось ровное дыхание засыпающего человека. Лихорадка проходила, и только красные пятна попрежнему играли на худеньком личике. О, как Петр Елисеич любил его, это детское лицо, напоминавшее ему другое, которого он уже не увидит!.. А между тем именно сегодня он страстно хотел его видеть, и щемящая боль охватывала его старое сердце, и в голове проносилась одна картина за другой.

Вот на пристани Самосадке живет «жигаль»¹⁴ Елеска Мухин. Старик Палач, отец нынешнего Палача, заметил его и взял к себе на рудник Крутяш в дозорные, как верного человека, а маленького Елескина сына записал в заводскую ключевскую школу. Маленький кержачонок,

¹⁴ Жигальями в куренной работе называют рабочих, которые жгут дровяные кучи в уголь: работа очень трудная и еще больше ответственная. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

попавший в учебу, был горько оплакан в Самосадке, где мать и разные старухи отчитывали его, как покойника. Жигаль Елеска тоже хмурился, потому что боялся гражданской печати хуже медведя, но разговаривать с старым Палачом не полагалось.

– Дурак, человеком будет твой Петька, – коротко объяснил Палач, по-медвежьи покровительствовавший Елеске. – Выучится, в контору служителем определят.

На Мурмосских заводах было всего две школы – одна в Мурмосе, другая в Ключевском. Учили одинаково скверно в обеих, а требовался, главным образом, красивый почерк. Маленький кержачонок Петька Жигаль, как прозвали его школяры по отцу, оказался одним из первых, потому что уже выучился церковной печати еще в Самосадке у своих старух мастериц. Выучился бы он в школе, поступил бы на службу в завод и превратился бы в обыкновенного крепостного служителя, но случилось иначе. Проживавший за границей заводоладелец Устюжанинов как-то вспомнил про свои заводы на Урале, и ему пришла дикая блажь насадить в них плоды настоящего европейского просвещения, а для этого стоило только написать коротенькую записочку главному заводскому управляющему. Сказано – сделано. Когда эта записочка прилетела на Урал, то последовала немедленная резолюция: выбрать из числа заводских школьников десять лучших и отправить их в Париж, где проживал тогда сам Устюжанинов. В это роковое число попали Петька Жигаль и хохленок Сидор Карпыч. Можно себе представить, как с Самосадки отправляли мальчугана в неведомую, басурманскую сторону. Даже «красная шапка» не производила такого панического ужаса: бабы выли и ревели над Петькой хуже, чем если бы его живого закапывали в землю, – совсем бессмысленный еще мальчонко, а бритосуы и табашники обасурманят его.

Маленькому Пете Мухину было двенадцать лет, когда он распрощался с своею Самосадкой, увозя с собой твердую решимость во что бы то ни стало бежать от антихристовой учебы. Лучше умереть, чем погубить маленькую самосадскую душу, уже пропитанную раскольничьим духом под руководством разных исправщиц, мастериц и начетчиц. Три раза пытался бежать с дороги маленький самосадский дикарь и три раза был жестоко наказан родными розгами, а дальше следовало ошеломляющее впечатление новой парижской жизни. Устюжанинов не поскупился на средства для своей «академии», как он называл своих заграничных учеников. К крепостным детям были поставлены дорогие учителя, и вообще они воспитывались в прекрасной обстановке, что не помешало Пете Мухину сделать последнюю отчаянную попытку к бегству. Он был возвращен в «академию» уже французским комиссаром и должен был помириться с неизбежной судьбой. Боже мой, как это было давно, и из всей «академии» в живых оставались только двое: он, Петька Жигаль, да еще Сидор Карпыч.

Десять лет, проведенных в Париже, совершенно переработали уральских дикарей, усвоивших не только внешний вид проклятых басурман, но и душевный строй. Блага европейской цивилизации совершенно победили черноземную силу. Родное оставалось в такой дали, что о нем думали, как о чем-то чужом. Часть воспитанников получила дипломы в *Ecole des mines*,¹⁵ а другие в знаменитой *Ecole polytechnique*. К последним принадлежал и *Pierre Mouchine*, окончивший курс первым учеником. Мещанский король Луи-Филипп ежегодно приглашал первого ученика из *Ecole polytechnique* к своему обеду, и таким образом самосадский кержак, сын жигалья Елески, попал в Елисейский дворец. Это был какой-то блестящий и фантастический сон, который разбился потом самым безжалостным образом.

Меценатствовавший заводоладелец Устюжанинов был доволен успехами своей «академии» и мечтал о том времени, когда своих крепостных самородков-управителей заменит на заводах европейски-образованными специалистами. Неожиданная смерть прервала эти замыслы, а «академия» осталась крепостной: меценат забыл выдать вольные. Оставался, конечно, наследник, но он был еще настолько мал, что не мог поправить эту маленькую

¹⁵ Горной школе (франц.).

ошибку, как и окружавшая его опека. Это маленькое затруднение, впрочем, нисколько не беспокоило молодых инженеров, возвращавшихся на родину с легким сердцем. Большинство из них переженались, кто в Париже, кто в Германии, кто в Бельгии. Мухин тоже женился на французенке, небогатой девушке, дочери механика.

Появление «заграничных» в Мурмосе произвело общую сенсацию. На вернувшуюся из далеких краев молодежь сбегались смотреть, как на невиданных зверей. Положим, на заводах всегда проживали какие-нибудь механики-немцы, но тут получались свои немцы. Всего более удивляли одеревеневший в напастях заводский люд европейские костюмы «заграничных», потом их жены – «немки» и, наконец, та свобода, с какой они держали себя. С первых же шагов на родной почве произошли драматические столкновения: родная, кровная среда не узнавала в «заграничных» свою плоть и кровь. Так, например, обедавший с французским королем Мухин на Самосадке был встречен проклятиями. Самого жигалья Елески уже не было в живых, а раскольница-мать не пустила «француза» даже на глаза к себе, чтобы не осквернить родного пепелища. Он был проклят, как бритоус, табашник и, особенно, как муж «немки». Но самое ужасное было еще впереди. Главным управляющим тогда только что был назначен Лука Назарыч, выдвинувшийся из безличной крепостной массы своею неукротимую энергией. Появление «заграничных» уже вперед стало ему костью поперек горла. Они жили в Мурмосе уже около месяца, а он все еще не желал их принять, выжидая распоряжения из Петербурга. Наконец, получено было и оно: делайте с «заграничными» что знаете и как знаете, по своему личному благоусмотрению. Это только и было нужно. Заводский рассылка оповестил «заграничных», чтобы они явились в контору в шесть часов утра. Они явились и должны были ждать два часа в передней, пока не позвал «сам». Их уже предупредили, что они должны остановиться у порога и здесь выслушать милостивое слово своего начальства.

– Прежде всего вы все крепостные, – заговорил Лука Назарыч, тогда еще средних лет человек. – Я тоже крепостной. Вот и все. О дальнейших моих распоряжениях вы узнаете через контору.

Это было ударом грома. Одно слово «крепостной» убивало все: значит, и их жены тоже крепостные, и дети, и все вместе отданы на полный произвол крепостному заводскому начальству. Нет слов выразить то отчаяние, которое овладело всею «академией». Чтобы не произошло чего-нибудь, всех «заграничных» рассортировали по отдельным заводам. Гений крепостного управляющего проявился в полном блеске: горные инженеры получили места писцов в бухгалтерии, техники были приставлены приемщиками угля и т. д. Мухин, как удостоившийся чести обедать с французским королем, получил и особый почет. Лука Назарыч ни с того ни с чего возненавидел его и отправил в «медную гору», к старому Палачу, что делалось только в наказание за особенно важные провинности. Первый ученик Ecole polytechnique каждый день должен был спускаться по стремянке с киркой в руках и с блендочкой на кожаном поясе на глубину шестидесяти сажен и работать там наравне с другими; он представлял в заводском хозяйстве ценность, как мускульная сила, а в его знаниях никто не нуждался. Мухина спасло то, что старый Палач еще не забыл жигалья Елеску и не особенно притеснял нового рабочего.

Нужно ли говорить, что произошло потом: все «заграничные» кончили очень быстро; двое спились, один застрелился, трое умерли от чахотки, а остальные сошли с ума. К этому тяжелому времени относится эпизод с Сидором Карпычем, которого отодрал Иван Семеныч. Сидор Карпыч кончил сумасшествием, и Петр Елисеич держал его при себе, как товарища по несчастью, которому даже и деваться было некуда. Уцелел один Петр Елисеич, да и тот слыл за человека повихнувшегося. В течение пятнадцати лет его преследовала неукротимая ненависть Луки Назарыча, и только впоследствии он мог кое-как выбиться из числа простых рабочих.

Главный управляющий торжествовал вполне.

Жена Мухина героически переносила свои испытания, но слишком рано сделалась задумчивой, молчаливой и как-то вся ушла в себя. Ее почти не видели посторонние люди. Это

нелюдимость походило на сумасшествие, за исключением тех редких минут, когда мелькали проблески сознания. К этому служило поводом и то, что первые дети умирали, и оставалась одна Нюрочка. Умирая, эта «немка» умоляла мужа отправить дочь туда, на Запад, где и свет, и справедливость, и счастье. Ах, как она тосковала, что даже мертвым ее тело должно оставаться в русских снегах, хотя и верила, что наступит счастливая пора и для крепостной России.

Все это происходило за пять лет до этого дня, и Петр Елисеич снова переживал свою жизнь, сидя у Нюрочкиной кровати. Он не слышал шума в соседних комнатах, не слышал, как расходились гости, и опомнился только тогда, когда в господском доме наступила полная тишина. Мельники, говорят, просыпаются, когда остановится мельничное колесо, так было и теперь.

Убедившись, что Нюрочка спит крепко, Петр Елисеич отправился к себе в кабинет, где горел огонь и Сидор Карпыч гулял, по обыкновению, из угла в угол.

– Ну, что же ты ничего не скажешь? – заговорил с ним Мухин. – Ты понимаешь ведь, что случилось, да? Ты рад?

– Пожалуй...

Петр Елисеич схватил себя за голову и упал на кушетку; его только теперь взяло то горе, которое давило камнем целую жизнь.

– Старые, дряхлые, никому не нужные... – шептал он, сдерживая глухие рыдания. – Поздно наша воля пришла, Сидор Карпыч. Ведь ты понимаешь, что я говорю?

Единственный человек, который мог разделить и горе и радость великого дня, не мог даже ответить.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Когда старый Коваль вернулся вечером из кабака домой, он прямо объявил жене Ганне, что, слава богу, просватал Федорку. Это известие старая хохлушка приняла за обыкновенные выкрутасы и не обратила внимания на подгулявшего старика.

– Пошел вывертать на уси боки... – ворчала она, толкая мужа в спину.

– Ганна, що я тобі кажу? – бормотал упрямый хохол, хватаясь за косяки дверей в сенцы. – А вот устану и буду стоять... Не трошь старого козака!..

– Оце лядащо... чего вин товчется, як баран?

Старушка напрасно старалась своими худыми руками разнять руки пьяницы, но ей на подмогу выскочила из избы сноха Лукерья и помогла втащить Ковалю в хату.

– А где Терёх? – спрашивала Лукерья. – Две пьяницы, право... Сидели бы дома, как добрые люди, а то нашли место в кабаке.

Эта тулянка Лукерья была сердитая баба и любила покомандовать над пьяными мужиками, а своего Тереха, по великорусскому обычаю, совсем под голик загнала.

– Геть, бабы!.. Чего мордуете?.. – командовал старик, продолжая упираться ногами. – А яког я свата нашел... по рукам вдарили... Эге, моя Федорка ведмедица... сват Тит тоже хвалит... а у него хлопец Пашка... Ну, чего вы на мене зуставились, як две козы?

– Матушка, да ведь старики и в самом деле, надо быть, пропили Федорку! – спохватилась Лукерья и даже всплеснула руками. – С Титом Горбатым весь день в кабаке сидели, ну и ударили по рукам...

Это известие совсем ошеломило Ганну, у ней даже руки повело от ужаса, и она только смотрела на сноху. Изба едва освещалась чадившим ночником. На лавке, подложив старую свитку в головы, спала мертвым сном Федора.

– Дорох, вже то правда? – спрашивала несчастная Ганна, чувствуя, как ее подкатывает «до пиченок».

– А то як же?.. В мене така голова, Ганна... тягнем горилку с Титом, а сами по рукам...

– Ой, лышечко!.. – заголосила Ганна, набрасываясь на старика. – Вот ледачи люди... выворотни проклятуши... Та я жь не отдам Федорку: помру, а не отдам!

– Нашел, куда просватать!.. – качала головой Лукерья. – Дом большой, одних снох четыре... Да и свекровь хороша: изъедуга...

Федорка проснулась, села на лавке, посмотрела на плакавшую мать и тоже заревела благим матом. Этот рев и вой несколько умерили блаженное состояние Ковалю, и он с удивлением смотрел по сторонам.

– От тебе на... – проговорил он, наконец, разводя руками. – Лукерья, а где твой Терёх, вгадай?

– Да я почем знаю... Вместе сидели в кабаке...

– А я жь тебе кажу: побигай до машинной, там твой и Терёх. Попавсь, бисова дитына, як индык!

Теперь запричитала Лукерья и бросилась в свою заднюю избу, где на полу спали двое маленьких ребятшек. Накинув на плечи пониток, она вернулась, чтобы расспросить старика, что и как случилось, но Коваль уже спал на лавке и, как бабы ни тормошили его, только мычал. Старая Ганна не знала, о ком теперь сокрушаться: о просватанной Федорке или о посаженном в машинную Терешке.

– А я в контору сбегаю проведать... – решила сердитая на все Лукерья и полетела на улицу.

Через полчаса она вернулась: Терешка спал в машинной мертвецки пьяный, и Лукерья, заливаясь слезами, от души желала, чтобы завтра исправник хорошенько отодрал его. Старая Ганна слушала сноху и качала головой. Закричавший в задней избе ребенок заставил Лукерью уйти, наконец, к себе.

Всю ночь до свету не спала Ганна. И кашель ее мучил и разные нехорошие думки. Терешка, конечно, проспится, а вот как Федорка... Слезы так и душили старую хохлушку, когда она начинала думать об этом несчастном сватовстве и представляла свою Федорку снохой Тита Горбатого. Хохлы охотно женились на тулянках, как это было и с Терешкой. Ганна сама этого пожелала и выбрала Лукерью. Тулянки такие работящие и не зорят семьи, как хохлушки. Куда бы девалась та же Ганна, если бы Лукерья начала подбивать Терешку к отделу? Конечно, она сердитая и ни в чем не уступает Ганне, но зато ведет целый дом и никогда не пожалуется. Тулянки сами охотно шли за хохлов, потому что там не было больших семей, а хохлушки боялись жениться с туляками. В большом доме ленивую и неумелую хохлушку-сноху забьют проворные на все тулянки, чему и было несколько примеров.

Старшая дочь Матрена сколько горя приняла со своим вдовством, а теперь последнюю родной отец хочет загубить.

Рано утром, отпустив корову в пасево, Ганна успела прибраться по хозяйству. Дом у Коваля был небольшой, но исправный. Изба делилась сенями по-москалинскому на две половины: в передней жил сам старик со старухой и дочерью, а в задней – Терешка с своей семьей. Было у них два хлева, где стояли Терешкина лошадь и корова Пестренка, под навесом красовалась новая телега, под другим жили овцы, а в огороде была устроена особая загородка для свиней. Дорох любил, чтобы к рождеству заколоть своего «кабана» и есть коржики с своим салом. Вообще все хозяйство как следует быть: своя шерсть от овец и овчины (это уж Лукерья завела овец), свое молоко и свое мясо к празднику.

Когда сноха проснулась и затопила печку, Ганна накинула на плечи старый жупан и торопливо вышла из ворот: стадо уже угнали в лес, и только проспавшие хозяйки гнали своих коровенок. Изба старого Коваля выходила лицом к речке Култыму, которая отделяла Хохлацкий конец от Туляцкого. Старая Ганна торопливо перебежала по берегу, поднялась на пригорок, где по праздникам девки играли песни, и через покосившийся старый мост перешла на туляцкую сторону, где правильными рядами вытянулись все такие крепкие, хорошие избы.

– Вон какие славные избы у туляков... – невольно сравнила старуха туляцкую постройку с своей хохлацкой. – Наши хохлы ленивые да пьянчуги... о, чтоб им пусто было!.. Вон тулянки уж печки истопили, а наши хохлушки только еще поднимаются...

Когда-то давно Ганна была и красива и «товста», а теперь остались у ней кожа да кости. Даже сквозь жупан выступали на спине худые лопатки. Сгорбленные плечи, тонкая шея и сморщенное лицо делали Ганну старше ее лет, а обмотанная бумажною шалью голова точно была чужая. Стоптаные старые сапоги так и болтались у ней на ногах. С моста нужно было подняться опять в горку, и Ганна приостановилась, чтобы перевести немного дух: у ней давно болела грудь.

Большая пятистенная изба Горбатого стояла на большой Туляцкой улице, по которой шла большая дорога в Мурмос. Она резко выделялась среди других построек своею высокою тесовою крышей и целым рядом разных пристроек, сгрудившихся на задах. Недавно старик покрыл весь двор сплошною крышей, как у кержаков, и новые тесницы так и горели на солнце. Все знали, что старику помог второй сын, Макар, который попал в лесообъездчики и стал получать доходы. Таких крытых дворов в Туляцком конце было уже штук пять, а у хохлов ни одного. Рядом с избой Горбатого стыдливо присела развалившаяся избенка пьяницы Рачителя и своим убожеством еще сильнее выделяла богатого соседа.

У ворот стояла запряженная телега. Тит Горбатый давно встал и собирался ехать на покос. У старика трещала с похмелья голова, и он неприветливо покосился на Ганну, которая спросила его, где старая Палагея.

– А в избе киснет... – едва ответил старик, рассматривая рассыхавшееся колесо. – Она, тово-этово, со снохами воюет.

Поднимаясь на крылечко, Ганна натолкнулась на молодую сноху Агафью, которая стремглав вылетела из избы и на ходу поправляла сбившийся на затылок платок. Красное лицо и заплаканные глаза не требовали объяснений. Отворив дверь в избу, Ганна увидела старшую сноху у печи, а сама Палагея усаживалась за кросна. Обернувшись, старуха с удивлением посмотрела на раннюю гостью. Помолвившись на образ, Ганна присела на лавочку к кроснам и завела речь о лишней ярочке, которую не знала куда девать. Палагея внимательно слушала, опустив глаза, – она чувствовала, что хохлушка пришла не за этим. Когда возившаяся около печи сноха вывернулась зачем-то из избы, Ганна рассказала про вчерашнее сватовство.

– Ну, так что тебе? – сурово спросила Палагея, неприятно пораженная этою новостью. Тит не любил разбалтывать в своей семье и ничего не сказал жене про вчерашнее.

– Та будь ласкова, разговори своего-то старика, – уговаривала Ганна со слезами на глазах. – Глупая моя Федорка, какая она сноха в таком большом доме... И делать ничего не умеет, – совсем ледаща.

– Отец да мать не выучат – добрые люди выучат... Что же, разве мы цыгана, чтобы словами-то меняться?... Может, родниться не хочешь?

Вернувшаяся в избу сноха прекратила этот разговор, и Ганна торопливо вытерла непрошенные слезы и опять заговорила про свою ярочку.

– А наших тулянок любите брать? – спрашивала рассердившаяся старуха, не обращая внимания на политику гостью. – Сама тоже для Терешки присмотрела не хохлушку... Вишь старая!.. А как самой довелось...

– Да ведь тулянки сами бегут за наших хохлов, – оправдывалась Ганна. – Спроси Лукерью...

– Потакаете снохам, вот и бегут... Да еще нашим повадка нехорошая идет. А про Федорку не беспокойся: выучится помаленьку.

Кросна сердито защелкали, и Ганна поняла, что пора уходить: не во-время пришла. «У, ведьма!» – подумала она, шагая через порог богатой избы, по которой снохи бегали, как мыши в мышеловке.

За воротами Ганна натолкнулась на новую неприятную сцену. Тит стоял у телеги с черемуховою палкой в руках и смотрел на подъезжавшего верхом второго сына, Макара. Лесообъездчик прогулял где-то целую ночь с товарищами и теперь едва держался в седле. Завидев отца, Макар выпрямился и расправил болтавшиеся на нем лядунки.

– Слезай, – коротко приказал Тит.

Макар, не торопясь, слез с лошади, снял шапку и подошел к отцу.

– Тятя... прости... – бормотал он и повалился в ноги.

Тит схватил его за волосы и принялся колотить своею палкой что было силы. Гибкий черемуховый прут только свистел в воздухе, а Макар даже не пробовал защищаться. Это был красивый, широкоплечий парень, и Ганне стало до смерти его жаль.

– Будешь по ночам пропадать, а?... – кричал на всю улицу Тит, продолжая работать палкой. – Будешь?..

– Хорошенько его, – поощрял Деян Поперешный, который жил напротив и теперь высунул голову в окошко. – От рук ребята отбиваются, глядя на хохлов. Ты его за волосы да по спине... вот так... Поболтай его хорошенько, дольше не рассохнется.

– Тятя, прости! – взвыл Макар, валяясь по земле.

Эта сцена привлекла общее внимание. Везде из окон показались туляцкие головы. Из ворот выскакивали белоголовые ребятишки и торопливо прятались назад. Общественное мнение безраздельно было за старика Тита, который совсем умаялся.

– Бude тоби хлопца увечить, – вступилась было Ганна и даже сделала попытку схватить черемуховую палку у расходившегося старика.

– Убирайся, потатчица, – закричала на нее в окошко Палагея. – Вишь выискалась какая добрая... Вот я еще, Макарка, прибавлю тебе, иди-ка в избу-то.

– Што взяла, старая? – накинулся Деян из своего окна на Ганну. – Терешка-то придет из машинной, так ты позови меня поучить его... А то вместе с Титом придем.

Но старая Ганна уже не слушала его и торопливо шла на свою хохлацкую сторону с худыми избами и пьянчугами хозяевами.

– А бог с вами! – бормотала она, шаркая сапогами по земле. – Бо зна, що роблять...

На мосту ей попались Пашка Горбатый, шустрый мальчик, и Илюшка Рачитель, – это были закадычные друзья. Они ходили вместе в школу, а потом бегали в лес, затевали разные игры и баловались. Огороды избенки Рачителя и горбатовской избы были рядом, что и связывало ребят: вышел Пашка в огород, а уж Илюшка сидит на прясле, или наоборот. Старая Ганна пристально посмотрела на будущего мужа своей ненаглядной Федорки и даже остановилась: проворный парнишка будет, ежели бы не семья ихняя.

– Ты чего шары-то вытаращила? – оборвал ее Пашка и показал язык. – У, старая карга... глиндра!..

Илюшка поднял ком сухой грязи и ловко запустил им в старуху.

– Оце, змееныши! – ругалась Ганна, защищая лицо рукой. – Я вас, пранцеватых... Геть, щидрики!..

– Глиндра!..

II

Мальчишки что есть духу запустили от моста домой, и зоркий Илюшка крикнул:

– Гли, Пашка, гли: важно взбулындывает отец Макарку! Даром что лесообъездчик, а только лядунки трясутся.

Сорванцы остановились в приличном отдалении: им хотелось и любопытную историю досмотреть до конца, да и на глаза старику черту не попасться, – пожалуй, еще вздует за здорово живешь.

– Айда к нам в избу, – приглашал Илюшка и перекинулся на руках прямо через прясло. – Испугался небойсь тятки-то, а?.. Тит и тебя отвзбулындывает.

Бойкий Илюшка любил дразнить Пашку, как вообще всех богатых товарищей. В нем сказывалось завистливое, нехорошее чувство, – вон какая изба у Тита, а у них какая-то гнилушка.

– Я буду непременно разбойником, как Окулко, – говорил он, толкая покосившуюся дверь в сени избушки. – Поедет богатый мужик с деньгами, а я его за горло: стой, глиндра!

– А богатый тебя по лбу треснет.

– В красной кумачной рубахе буду ходить, как Окулко, и в плисовых шароварах. Приду в кабак – все и расступятся... Разбойник Илька пришел!..

В избе жила мать Домнушки и Рачителя, глухая жалкая старуха, вечно лежавшая на печи. Мальчишки постоянно приходили подразнить ее и при случае стащить что-нибудь из съестного. Домнушка на неделе завертывала проведать мать раза три и непременно тщила с собой какой-нибудь узелок с разною господскою едой: то кусок пирога, то телятины, то целую жареную рыбу, а иногда и шкалик сладкой наливки. Старуха не прочь была выпить, причем стонала и жаловалась на свою судьбу еще больше, чем обыкновенно. Заслышав теперь шаги своих врагов, старуха закричала на них:

– Куда вы, пострелы, лезете?.. Илюшка, это ты?

– Я, баушка Акулина.

– А с тобой кто?

– Пашка Горбатый... В гости пришли, баушка.

– Как ты сказал: в гости?.. Вот я уже слезу с печки-то да Титу и пожалуюсь... Он вам таких гостинцев насыплет, пострелы.

Ребята обшарили всю избушку и ничего не нашли: рано пришли, а Домнушка еще не бывала.

– Этакая шлюха эта Домнушка! – тоном большого обругался Илюшка. – Отец-то куды у тебя собрался?

– А на покос... Меня хотел везти, да я ушел от него. Больно злой с похмелья-то, старый черт... Всех по зубам так и чистит с утра.

Пашка старался усвоить грубый тон Илюшки, которому вообще подражал во всем, – Илюшка был старше его и везде лез в первую голову. Из избы ребята прошли в огород, где и спрятались за худую баней, – отсюда через прясло было отлично видно, как Тит поедет на покос.

– Пашка... эй, Пашка! – кричал сердитый старик, выглядывая в свой огород. – Ужо я тебя, этово-тово... Пашка!

– Не откликайся: вздует, – подучил Илюшка.

Ребятишки прятались за баней и хихикали над сердившимся стариком. Домой он придет к вечеру, а тогда Пашка заберется на полати в переднюю избу и мать не даст обижать.

– Эх вы, богатей! – презрительно заметил Илюшка, хватая приятеля за вихры, и прибавил с гордостью: – Третьева дни я бегал к тетке на рудник...

– К приказнице? – хихикнул Пашка, закрывая рот рукой. – Ведь Анисья с Палачом живет.

– Ну, живет... Ну, мать меня к ей посылала... Я нарочно по Кержацкому концу прошел и двух кержаков отболтал.

– Не подавись врать-то!

– Я?.. Верно тебе говорю... Ну, прихожу к тетке, она меня сейчас давай чаем угощать, а сама в матерчатом платье ходит... Шалевый платок ей подарил Палач на пасхе, да Козловы ботинки, да шкатунку. Вот тебе и приказчица!

Это хвастовство взбесило Пашку, – уж очень этот Илюшка нос стал задирать... Лучше их нет, Рачителей, а и вся-то цена им: кабацкая затычка. Последнего Пашка из туляцкого благо-разумия не сказал, а только подумал. Но Илюшка, поощренный его вниманием, продолжал еще сильнее хвастать: у матери двои Козловы ботинки, потом шелковое платье хочет купить и т. д.

– А откуда деньги-то? – лукаво хихикнул Пашка.

– Известно, откуда: из выручки. От Груздева небось отсчитаемся... Целую бочку на неделе-то продали.

– Вот и врешь: Окулко дает твоей матери деньги, – неожиданно заявил Пашка с убеждением.

Это заявление обескуражило Илюшку, так что он не нашелся даже, что ему ответить.

– А ты не знал, зачем Окулко к вам в кабак ходит? – не унимался Пашка, ободренный произведенным впечатлением. – Вот тебе и двои Козловы ботинки... Окулко-то ведь жил с твоею матерью, когда она еще в девках была. Ее в хомуте водили по всему заводу... А все из-за Окулка!..

Илюшка молчал и только смотрел на Пашку широко раскрытыми глазами. Он мог, конечно, сейчас же исколотить приятеля, но что-то точно связывало его по рукам и по ногам, и он ждал с мучительным любопытством, что еще скажет Пашка. И злость, и слезы, и обидное щемящее чувство захватывали ему дух, а Пашка продолжал свое, наслаждаясь мучениями благоприятеля. Ему страстно хотелось, чтобы Илюшка заревел и даже побил бы его. Вот тебе, хвастун!

– У вас вся семья такая, – продолжал Пашка. – Домнушку на фабрике как дразнят, а твоя тетка в приказчицах живет у Палача. Деян постоянно рассказывает, как мать-то в хомуте водили тогда. Он рассказывает, а мужики хохочут. Рачитель потом как колотил твою-то мать: за волосы по улицам таскал, чересседельником хлестал... страсть!.. Вот тебе и козловы ботинки...

В это мгновение Илюшка прыжком надел на Пашку, повалил его на землю и принялся отчаянно бить по лицу кулаками. Он был страшен в эту минуту: лицо покрылось смертельно бледностью, глаза горели, губы тряслись от бешенства. Пашка сначала крепился, а потом заревел благим матом. На крик выбежала молодая сноха Агафья, копавшая в огороде гряды, и накинулась на разбойника Илюшку.

– Ах ты, собачье мясо! – кричала она, стараясь разнять катавших по земле ребяташек, но ничего не могла поделать и бросилась за помощью в избу.

Расстервенившийся Илюшка ничего не сознавал, – он точно одеревенел, вцепившись в обидчика. Прибежавшая старуха Палагея ударила его по спине палкой, а старшая сноха ухватила за волосы, но Илюшка не выпускал хрипевшего Пашки и ругал баб нехорошими словами. Только появление Макарки прекратило побоище: он, как кошку, отбросил Илюшку в сторону и поднял с земли жениха Федорки в самом жалком виде, – лицо было в крови, губы распухли. На шум выползла из своей избушки даже бабушка Акулина, на которую и накинулась Палагея, – Илюшка уже давно летел по улице к кабаку.

– Сейчас видно разбойничье-то отродье... – корила Палагея, размахивая руками. – Вот навязались соседи, прости господи!

– Ну, вы, бабы: будет! – окрикнул Макар, дал затрещину хныкавшему Пашке и, пошатываясь, пошел домой.

Высокая, здоровая старуха Палагея долго не могла успокоиться. Поругавшись с бабушкой Акулиной, она цыкнула на снох, стоявших у прясла с разинутыми ртами, и с ворчаньем, как медведица, побрела к своему двору. В пестрядинном сарафане своей домашней работы из домашнего холста, она имела что-то внушительное, а старушечье лицо смотрело серыми глазами так строго и холодно. Старшая сноха, красивая толстая баба, повязанная кумачным платком, высоко подтыкала свой будничный сарафан и, не торопясь, тоже пошла домой, – она по очереди сегодня управлялась в избе. Младшая сноха, Агафья, белобрысая бабенка с узкими и покатыми плечами, следовала за ней по пятам, чтобы не попадаться на глаза рассерженной свекрови. Она не пошла к своей гряде, где в борозде валялась брошенная второпях лопатка, а поскорее нырнула в ворота и спряталась от старухи в конюшне.

Пашка в семье Горбатого был младшим и поэтому пользовался большими льготами, особенно у матери. Снохи за это терпеть не могли баловня и при случае натравляли на него старика, который никому в доме спуска не давал. Да и трудно было увернуться от родительской руки, когда четыре семьи жались в двух избах. О выделе никто не смел и помышлять, да он был и немислим: тогда рухнуло бы все горбатовское благосостояние.

Макар ушел к себе в заднюю избу, где его жена Татьяна стирала на ребят. Он все еще не мог прочухаться от родительской трепки и недружелюбно смотрел на широкую спину безответной жены, взятой в богатую семью за свою лошадиную силу.

– Это ты нажалилась отцу? – придирался Макар к жене, едва удерживаясь от желания хлобыснуть Татьяну по спине.

– Штой-то, Макар, все ты присыкаешься ко мне... – слезливо ответила несчастная баба, инстинктивно убирая свою спину от замахнувшегося кулака.

– У, ведьма!.. – рычал Макар, тыкая жену в бок.

Та схватилась за «убитое» место и жалко захныкала, что еще сильнее рассердило Макара, и он больно ударил жену ногой прямо в живот.

Положение Татьяны в семье было очень тяжелое. Это было всем хорошо известно, но каждый смотрел на это, как на что-то неизбежное. Макар пьянствовал, Макар походя бил жену, Макар вообще безобразничал, но где дело касалось жены – вся семья молчала и делала вид, что ничего не видит и не слышит. Особенно фальшивили в этом случае старики, подставлявшие несчастную бабу под обух своими руками. Когда соседки начинали приставать к Палагее, она подбирала строго губы и всегда отвечала одно и то же:

– Промежду мужем и женой один бог судья...

Даже сегодняшняя проволочка Макару, заданная от старика, имела более хозяйственный интерес, а не нравственный: он его бил не как плохого мужа, а как плохого члена семьи, баловавшего на стороне на неизвестные деньги. Старший сын, Федор, был смиренный и забитый мужик, не могший служить опорой дому в качестве большака. Когда пришлось женить Макара, горбатовская семья была большая, но всё подростки или ребята, так что у Палагеи со старшей снохой «управа не брала». Нужно было взять работающую, безответную бабу, какую сам Тит и подыскал в лице Татьяны. Макар, конечно, знал отлично эти домашние расчеты и все-таки женился, не смея перечить родительской воле. Пока семья крепла и разрасталась, Татьяна была необходима для работы, – баба «воротила весь дом», – но когда остальные дети подросли и в дом взяли третью сноху, Агафью, жену четвертого сына, Фрола, честь Татьяне сразу отошла. Три снохи управятся с каким угодно хозяйством, и в ней не было теперь особенной необходимости. Вместе с приливавшем довольством явились и новые требования: Агафью взяли уже из богатого дома, – значит, ею нельзя было так помыкать, как Татьяной, да и работать по-настоящему еще нужно было учить. Выходило так, что Татьяна своим слишком рабочим видом точно конфузила горбатовскую семью, особенно наряду с другими снохами, и ее держали в черном теле, как изработавшуюся скотину, какая околачивается по задним дворам на подножном корму.

Были у Горбатого еще два сына: один – Артем, муж Домнушки, женившийся на ней «по соседству», против родительской воли, а другой – учитель Агап. Артем ушел в солдаты. Считая сыновей, Тит откладывал всего пять пальцев и откидывал Агапа, как отрезанный ломоть. Да и какой это человек для семьи: учитель заводской народной школы? Еще был бы служащий или просто попал куда «на доходы», как лесообъездчик Макар, тогда другое дело, а то учитель – последнее дело. Братья подшучивали над пьяницей Агапом, как над посторонним человеком, и в грош его не ставили. Даже большак Федор, околавившийся в доменной печи подсыпкой, и тот чувствовал свое превосходство. Агап и Домнушка совсем были исключены из семьи, как чужие, потому что от них не было дому никакой пользы.

Семья Тита славилась как хорошие, исправные работники. Сам старик работал всю жизнь в куренях, куда уводил с собой двух сыновей. Куренная работа тяжелая и ответственная, потом нужно иметь скотину и большое хозяйственное обзаведение, но большие туляцкие семьи держались именно за нее, потому что она представляла больше свободы, – в курене не скоро достанешь, да и как уследишь за самою работой? На дворе у Тита всегда стояли угольные коробья, дровни и тому подобная углепоставщицкая снасть.

III

Когда у кабака Дуньки Рачителихи стояла сивая кобыла, все знали, что в кабаке засел Морок. Эта кобыла ходила за хозяином, как собака, и Морок никогда ее не кормил: если захочет жрать, так и сама найдет. Сейчас кобыла стояла у кабака, понунив голову и сонно моргая глазами, а Морок сидел у стойки с учителем Агапом и Рачителем. Сегодня происходило великое торжество: друзья делали впрыски по поводу отправления Морока в пасево. Единственный заводский вор знал только одну работу: пасти лошадей. Это был каторжный и крайне ответственный труд, но Морок пользовался громкою репутацией лучшего конского пастуха. Ключевляне доверялись ему на основании принципа, что если уж кто убережет, так, конечно, сам вор. У Морока был свой гонор, и в течение лета он оставался почти честным человеком, за исключением мелких краж где-нибудь на покосе. Получив задаток, Морок первым делом, конечно, отправился в кабак, где его уже дожидались благодетели.

– Молодец ты, Морок!.. – льстиво повторял учитель Агап. – Найди-ка другого такого конского пастуха...

– Это ты верно... – поддакивал захмелевший прежде других Рачитель.

– У меня в позапрошлом году медведь мою кобылу хватал, – рассказывал Морок с самодовольным видом. – Только и хитра скотинка, эта кобыла самая... Он, медведь, как ее облапит, а она в чашу, да к озеру, да в воду, – ей-богу!.. Отстал ведь медведь-то, потому удивила его кобыла своею догадкой.

«Три пьяницы» вообще чувствовали себя прекрасно, что бесило Рачителиху, несколько раз выглядывавшую из дверей своей каморки в кабак. За стойкой управлялся один Илюшка, потому что днем в кабаке народу было немного, а набивались к вечеру. Рачителиха успевала в это время управиться около печи, прибрать ребятишек и вообще повернуть все свое бабье дело, чтобы вечером уже самой выйти за стойку.

– Илюшка, ты смотри за отцом-то, – наставляла она детище. – Куды-нибудь отвернешься, а он как раз полштоф и стащит...

Илюшка упорно отмалчивался, что еще больше злило Рачителиху. С парнишкой что-то сделалось: то молчит, то так зверем на нее и смотрит. Раньше Рачителиха спускала сыну разные грубые выходки, а теперь, обозленная радовавшимися пьяницами, она не вытерпела.

– Ты чего молчишь, как пень? – накинулась она на Илюшку. – Кому говорят-то?.. Недавно оглох, так не можешь ответить матери-то?

Илюшка продолжал молчать; он стоял спиной к окну и равнодушно смотрел в сторону, точно мать говорила стене. Это уже окончательно взбесило Рачителиху. Она выскочила за стойку и ударила Илюшку по щеке. Мальчик весь побелел от бешенства и, глядя на мать своими большими темными глазами, обругал ее нехорошим мужицким словом.

– Ах ты, змееныш!..

Рачителиха вся затряслась от бешенства и бросилась на сына, как смертельно раненная медведица. Она сбила его с ног и таскала по полу за волосы, а Илюшка в это время на весь кабак выкрикивал все, что слышал от Пашки Горбатого про Окулка.

– Будь же ты от меня проклят, змееныш! – заголосила Рачителиха, с ужасом отступая от своей взбунтовавшейся плоти и крови. – Не тебе, змеенышу, родную мать судить...

Остервенившийся Илюшка больно укусил ей палец, но она не чувствовала боли, а только слышала проклятое слово, которым обругал ее Илюшка. Пьяный Рачитель громко хохотал над этою дикою сценой и кричал сыну:

– Валяй ее, Илюшка!..

Опомнившись от потасовки и поощренный отцом, Илюшка опять обругал мать, но не успел он докончить ругани, как чья-то могучая рука протянулась через стойку, схватила его и подняла за волосы.

– Давай веревку, Дуня... – хрипло говорил Морок, выхвативший Илюшку из-за стойки, как годовалого щенка. – Я его поучу, как с матерью разговаривать.

Рачителиха бросилась в свою каморку, схватила опояску и сама принялась крутить Илюшке руки за спину. Озверевший мальчишка принялся отчаянно защищаться, ругал мать и одною рукой успел выхватить из бороды Морока целый клочок волос. Связанный по рукам и ногам, он хрипел от злости.

– Ну, и зверь! – удивлялся Морок, показывая Рачителихе укушенный палец.

В этот момент подкатил к кабаку, заливаясь колокольчиками, экипаж Груздева. Войдя в кабак, Самойло Евтихыч нашел Илюшку еще связанным. Рачителиха так растерялась, что не успела утащить связанного хоть за стойку.

– Кто это тебя так стреножил, мальчуга? – весело спрашивал Груздев, узнавший Илюшку.

Это участие растрогало Рачителиху, и она залилась слезами. Груздев ее любил, как разбитную шинкарку, у которой дело горело в руках, – ключевской кабак давал самую большую выручку. Расспросив, в чем дело, он только строго покачал головой.

– Ну, дело дрянь, Илюшка, – строго проговорил Груздев. – Надо будет тебя и в сам-деле поучить, а матери где же с тобой справиться?.. Вот что скажу я тебе, Дуня: отдай ты его мне, Илюшку, а я из него шелкового сделаю. У меня, брат, разговоры короткие.

– Самойло Евтихыч, будь отцом родным! – причитала Рачителиха, бросаясь в ноги благодетелю. – Бога за тебя буду молить, ежели возьмешь его.

– Встань, Дуня... – ласково говорил Груздев, поднимая ревевшую неладом бабу. – Золотые у тебя руки, кабы вон не твой-то сахар...

Груздев мотнул головой на Рачителя и поморщился.

– Ну, давай счеты.

К особенностям Груздева принадлежала феноменальная память. На трех заводах он почти каждого знал в лицо и мог назвать по имени и отчеству, а в своих десяти кабаках вел счеты на память, без всяких книг. Так было и теперь. Присел к стойке, взял счеты в руки и пошел пощелкивать, а Рачителиха тоже на память отсчитывалась за две недели своей торговли. Разница вышла в двух полуштофах.

– Это уж мне в жалованье накинь, Самойло Евтихыч, – печально проговорила Рачителиха. – Моя неустойка.

– Рачитель выпил? – коротко спросил Груздев и, поморщившись, скостил два украденных Рачителем полуштофа. – Ну, смотри, чтобы вперед у меня этого не было... не люблю.

– И то рук не покладаючи бьюсь, Самойло Евтихыч, а где же углядеть; тоже какое ни на есть хозяйство, за робятами должна углядеть, а замениться некем.

– Знаю, знаю, Дунюшка... Не разорваться тебе в сам-то деле!.. Руки-то твои золотые жалею... Ну, собирай Илюшку, я его сейчас же и увезу с собой на Самосадку.

Все время расчета Илюшка лежал связанный посреди кабака, как мертвый. Когда Груздев сделал знак, Морок бросился его развязывать, от усердия к благодетелю у него даже руки дрожали, и узлы он развязывал зубами. Груздев, конечно, отлично знал единственного заводского вора и с улыбкой смотрел на его широчайшую спину. Развязанный Илюшка бросился было стремглав в открытую дверь кабака, но здесь попал прямо в лапы к бережному Матюшке Гущину.

– Подержи его малым делом, Матюшка, – приказывал Груздев.

Сборы Илюшки были окончены в пять минут: две новых рубахи, новые сапоги и суконное пальтишко были связаны в один узел и засунуты в повозку Груздева под козла. Рачителиха, заливаясь слезами, остановилась в дверях кабака.

– Перестань, Дуня, – ласково уговаривал ее Груздев и потрепал по плечу. – Наши само-садские старухи говорят так: «Маленькие детки матери спать не дают, а большие вырастут – сам не уснешь». Ну, прощай пока, горяшка.

Так как место около кучера на козлах было занято осторожным, то Груздев усадил Илюшку в экипаж рядом с собой.

– Вот уж я тебе задам, – ворчал он, засовывая себе за спину дорожную кожаную подушку.

Лихо рванула с места отдохнувшая тройка в наборной сбруе, залились серебристым сме-хом настоящие валдайские колокольчики, и экипаж птицей полетел в гору, по дороге в Само-садку. Рачителиха стояла в дверях кабака и причитала, как по покойнике. Очень уж любила она этого Илюшку, а он даже и не оглянулся на мать.

Целый день проревела Рачителиха, оплакивая свое ненаглядное детище. К вечеру народу в кабаке набралось много, и она торговала с опухшими от слез глазами. Урвется свободная минутка, и Рачителиха где-нибудь в уголке припадет своею горькою головой и залется рекой. Она ли не любила, она ли не лелеяла Илюшку, а он первый поднял на нее свою детскую руку! Этот случай поднял в ее душе все прошлое, которое довело ее до кабацкой стойки. Родом она была из богатого туляцкого дома и рано заневестилась. От женихов не было отбоя, а пока отец с матерью думали да передумывали, кого выбрать в зятя, она познакомилась на покосе в страду с Окулком, и эта встреча решила ее судьбу. Окулко тогда не был разбойником и работал на фабрике, как один из лучших кричных мастеров, – сам Лука Назарыч только любовался, когда Окулко вытягивал под молотом полосу. Видный был парень Окулко и содержал всю семью, да попутал его грех: наткнулся он на Палача-отца. За какую-то провинность Окулко послан был на исправление в медную гору (лучшие мастера не избегали этого наказания). Когда дело дошло до плетей, Окулко с ножом бросился на Палача и зарезал бы его, да спасли старика большие старинные серебряные часы луковицей: нож изгадал по часам, и Палач остался жив. Окулко бежал в горы, где и присоединился к другим крепостным разбойникам, как Беспалый, бегавший от рекрутчины. Этим и закончился роман Дуни. Чтобы смотать дочь с рук, отец подыскал ей самого завалящего жениха – Рачителя, который за двадцать рублей взялся при-крыть венцом девичий грех.

Избывая дочь, старики просчитались и не ушли от срама. Страшное это было дело, когда оба конца, Туляцкий и Хохлацкий, сбежались смотреть на даровой позор невесты с провинкой. Самая свадьба походила на похороны. На другой день, когда свахи подняли молодых, мужняя родня накинута на молодую. На Дуньку надели лошадиный хомут и в таком виде водили по всему заводу. Как бил жену Рачитель – это знала она одна. Этот стыд и мужнины побои навеки озлобили Дунькину душу, и она два раза пыталась «стравить мужа», хотя последний и уцелел благодаря слишком большим приемам яда. Конечно, Рачитель бил жену насмерть, пока не спился окончательно с круга. Она взяла, наконец, верх над мужем-пропойцей, отвоевав право существования, и села в кабак.

Когда родился первый ребенок, Илюшка, Рачитель избил жену поленом до полусмерти: это было отродье Окулка. Если Дунька не наложила на себя рук, то благодаря именно этому ребенку, к которому она привязалась с болезненной нежностью, – она все перенесла для своего любимого детища, все износила и все умела забыть. Много лет прошло, и только сегодняшней случай поднял наверх старую беду. Вот о чем плакала Рачителиха, проводив своего Илюшку на Самосадку.

Когда в сумерки в кабак задами прибежала Домнушка, ловившая Спирьку Гущина, она долго утешала убивавшуюся Рачителиху своими бессмысленными бабьими наговорами, какими знахарки унимают кровь. По пути свои утешения она пересыпала разными новостями, каких всегда приносила с собой целый ворох.

– А наши-то тулянки чего придумали, – трещала участливо Домнушка. – С ног сбились, всё про свой хлеб толкуют. И всё старухи... С заводу хотят уезжать куда-то в орду, где земля дешевая. Право... У самих зубов нет, а своего хлеба захотели, старые... И хохлушек туда же подманивают, а доведись до дела, так на снохах и поедут. Удумали!.. Воля вышла, вот все и зашевелились: кто куда, – объясняла Домнушка. – Старики-то так и поднялись, особенно в нашем Туляцком конце.

– Это мужикам воля вышла, Домнушка, а не бабам, – грустно ответила Рачителиха.

IV

Обыкновенно фабрику останавливали после Петрова дня до успенья: это была заводская страда. Нынче всякое заводское действие остановилось само собой двумя месяцами раньше. Главная контора в Мурманске сделала распоряжение не начинать работ до осени, чтобы дать народу одуматься и самим тоже подумать. Все заводское управление было связано по рукам и ногам распоряжениями петербургской конторы, где тоже думали. Таким образом, заводские служащие получили полную свободу до осени. Мухин воспользовался этим временем, чтобы помириться с матерью.

– Нюрочка, мы поедем в Самосадку, – весело объявил он дочери. – Бабушку свою увидишь.

До Самосадки было верст двадцать с небольшим. Рано утром дорожная повозка, заложённая тройкой, ждала у крыльца господского дома. Кучер Семка несколько раз принимался оправлять лошадей, садился на козла, выравнивал вожжи и вообще проделывал необходимые предварительные церемонии настоящего господского кучера. Антип и казачок Тишка усердно ему помогали. Особенно хлопотал последний: он выпросился тоже ехать на пристань и раз десять пробовал свое место рядом с Семкой, который толкал его локтем.

– Какая отличная погода, папа, – лепетала Нюрочка, когда они усаживались, наконец, в экипаж. – На деревьях уж листочки развернулись... травка зеленая... цветы.

Катря и Домнушка все-таки укутали барышню в большую шаль, ноги покрыли одеялом, а за спину насовали подушек. Но и это испытание кончилось, – Антип растворил ворота, и экипаж весело покатил на Самосадку. Мелькнула контора, потом фабрика, дальше почерневшие от дыма избышки Пеньковки, высокая зеленая труба медного рудника, прогремел под колесами деревянный мост через Березайку, а дальше уже начинался бесконечный лес и тронутые первою зеленью лужайки. Дорога от р. Березайки пошла прямо в гору.

– Эвон дядя Никитич лопочет по стороне, – проговорил Тишка, оборачивая свое улыбавшееся, счастливое лицо.

Никитич шел с кучкой кержанок. Он был одет по-праздничному: в плисовые шаровары, в красную рубаху и суконный черный халат. На голове красовалась старинная шелковая шляпа вроде цилиндра, – в Ключевском заводе все раскольники щеголяли в таких цилиндрах. Только сапоги Никитич пожалел, он шел босиком, а новые сапоги болтались за плечами, перекинутые на дорожную палку. Троица – годовой праздник на Самосадке, и Никитич выпросился погулять. Когда экипаж поровнялся, Никитич весело приподнял свой цилиндр наотлет и крикнул:

– Гулять на Самосадку, Петр Елисеич, родимый мой!

Попадались и другие пешеходы, тоже разодетые по-праздничному. Мужики и бабы кланялись господскому экипажу, – на заводах рабочие привыкли кланяться каждой фуражке. Все шли на пристань. Николин день считался годовым праздником на Ключевском, и тогда самосадские шли в завод, а в троицу заводские на пристань. Впрочем, так «гостились» одни раскольники, связанные родством и многолетней дружбой, а мочегане оставались сами по себе.

– И дочь Оленку дядя-то повел на пристань, – сообщил Тишка. – Девчонка махонькая, по восьмому году, а он ее волокет... Тоже не от ума человек!

С Никитичем действительно торопливо семенила ножками маленькая девочка с большими серыми глазами и серьезным не по летам личиком. Когда она уставала, Никитич вскидывал ее на одну руку и шел с своею живою ношей как ни в чем не бывало. Эта Оленка очень заинтересовала Нюрочку, и девочка долго оглядывалась назад, пока Никитич не остался за поворотом дороги.

На половине дороги обогнали телегу, в которой ехал старик Основа с двумя маленькими дочерьми, а потом другую телегу, в которой лежали и сидели брательники Гуцины. Лошадью правила их сестра Аграфена, первая заводская красавица.

– Куды телят-то повезла, Аграфена? – спрашивал Семка, молодежато подтягиваясь на козлах; он частенько похаживал под окнами гуцинской избы, и Спирька Гуцин пообещался наломать ему шею за такие прогулки.

– Бороться едут, – объяснил Тишка. – Беспременно на пристани круг унесут, ежели Матюшка Гуцин не напъется до поры. Матюшка с Груздевым третьева дни проехали на Самосадку.

Нюрочка всю дорогу щебетала, как птичка. Каждая горная речка, лужок, распустившаяся верба – все ее приводило в восторг. В одном месте Тишка соскочил с козел и сорвал большой бледножелтый цветок с пушистой мохнатою ножкой.

– Ах, какой славный цветок! Папа, как он называется?.. Ветреница? Какое смешное название!..

Вон там еще желтеют ветреницы – это первые весенние цветы на Урале, с тонким ароматом и меланхолическою окраской. Странная эта детская память: Нюрочка забыла молебен на площади, когда объявляли волю, а эту поездку на Самосадку запомнила хорошо и, главным образом, дорогу туда. Стоило закрыть глаза, как отчетливо представлялся Никитич с сапогами за спиной, улыбавшийся Тишка, телега с брательниками Гуциными, которых Семка назвал телятами, первые весенние цветы.

– Эвон она, Самосадка-то! – крикнул Семка, осаживая взмыленную тройку на глинистом кособоре, где дорога шла корытгом и оставленные весеннею водой водороины встряхивали экипаж, как машинку для взбивания сливочного масла.

Под горой бойкая горная река Каменка разлилась широким плесом, который огибал круглый мыс, образовавшийся при впадении в нее Березайки, и там далеко упиралась в большую гору, спускавшуюся к воде желтым открытым боком. Жило,¹⁶ раскинуто было на этом круглом мысу, где домишки высыпали, точно стадо овец. Из общей массы построек крупными зданиями выделялись караванная контора с зеленою железною крышей и дом Груздева, грузно присевший к земле своими крепкими пристройками из кондового старинного леса. За избами сейчас же тянулись ярко зеленевшие «перемены»¹⁷ огороженные легкими пряслами. На Самосадке народ жил справно, благо сплав заводского каравана давал всем работу: зимой рубили лес и строили барки, весной сплавливали караван, а остальное время шло на свои домашние работы, на перевозку металлов из Ключевского завода и на куренную работу. Самосадка была основана раскольничьими выходцами с реки Керженца и из Выгорецких обитателей, когда Мурмосских заводов еще и в помине не было. Весь Кержацкий конец в Ключевском заводе образовался из переселенцев с Самосадки, поэтому между заводом и пристанью сохранялись неразрывные, кровные сношения.

Кучер не спрашивал, куда ехать. Подтянув лошадей, он лихо прокатил мимо перемен, проехал по берегу Березайки и, повернув на мыс, с шиком въехал в открытые ворота груздевского дома, глядевшего на реку своими расписными ставнями, узорчатою вышкой и зеленым палисадником. Было еще рано, но хозяин выскочил на крыльцо в шелковом халате с болтавшимися кистями, в каком всегда ходил дома и даже принимал гостей.

– Вот это уж настоящий праздник!.. – кричал Груздев, вытаскивая из экипажа Нюрочку и целуя ее на лету. – Ай да Петр Елисеич, молодец... Давно бы так-то собраться!

¹⁶ На Урале сохранилось старинное слово «жило», которым обозначается всякое жилье и вообще селитьба. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

¹⁷ Переменами называются покосы, обнесенные изгородами или «пряслами», по-уральски. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

На звон колокольчиков выбежал Вася, пропадавший по целым дням на голубятне, а Матюшка Гуцин, как медведь, навьючил на себя все, что было в экипаже, и потащил в горницы.

– Ты повозку-то хоть оставь, черт деревянный!.. – огрызнулся на него Семка. – Право, черт, как есть...

– Вот что, Матвей, – заговорил Мухин, останавливая осторожного, – ты сходи за братом Егором...

Матюшка с медвежьей силой соединял в себе великую глупость, поэтому остановился и не знал, что ему делать: донести приказчицы пожитки до горницы или бросить их и бежать за Егором...

– Тащи, чего встал? – окрикнул его Груздев, втащивший Нюрочку на крыльцо на руках. – Петр Елисеич, еще успеется... куда торопиться?.. Ну, Нюрочка, пойдем ко мне в гости.

Дом у Груздева был поставлен на славу. В два этажа с вышкой, он точно оброс какими-то переходами, боковушками и светелками, а дальше шли громадные амбары, конюшни, подсарайные, людские и сеновалы. Громадный двор был закрыт только наполовину, чтобы не отнимать света у людской. Комнаты в доме были небольшие, с крашеными потолками, выложенными полами и пестрыми обоями. Хорошая мебель была набита везде, так что трудно было ходить. Нюрочку особенно удивили мягкие персидские ковры и то, что решительно все было выкрашено. В горницах встретила гостей жена Груздева, полная и красивая женщина с белым лицом и точно выцветшими глазами.

– Милости просим, дорогие гости! – кланялась она, шумя тяжелым шелковым сарафаном с позументами и золотыми пуговицами.

Вася вертелся около матери и показывал дорогой гостье свои крепкие кулаки, что ее очень огорчало: этот мальчишка-драчун отравил ей все удовольствие поездки, и Нюрочка жалась к отцу, ухватив его за руку.

– Забыли вы нас, Петр Елисеич, – говорила хозяйка, покачивая головой, прикрытой большим шелковым платком с затканными по широкой кайме серебряными цветами. – Давно не бывали на пристани! Вон дочку вырастили...

– Давненько-таки, Анфиса Егоровна, – отвечал Мухин, размахивая по своей привычке платком. – Много новых домов, лес вырубил...

Анфиса Егоровна опять качала головой, как фарфоровая кукла, и гладила ненаглядное дитяtko, Васеньку, по головке.

Пока пили чай и разговаривали о разных пустяках, о каких говорят с дороги, осторожной успел сходить за Егором и доложил, что он ждет на дворе.

– Что же ты не ввел его в горницы? – смутился Груздев. – Ты всегда так... Никуда послать нельзя.

– Я его звал, да он уперся, как пень, Самойло Евтихыч.

Мухин вышел на крыльцо, переговорил с Егором и, вернувшись в горницу, сказал Нюрочке:

– Теперь ты ступай к бабушке... Дядя Егор тебя проводит.

Девочка пытливо посмотрела на отца и, догадавшись, что ее посылают одну, капризно надула губки и решительно заявила, что одна не пойдет. Ее начали уговаривать, а Анфиса Егоровна пообещала целую коробку конфет.

– Нельзя же, Нюрочка, упрямиться... Нужно идти к бабушке. Ручку у ней поцелуй... Нужно стариков уважать.

Поупрямившись, Нюрочка согласилась. Егор дождался ее во дворе. Он пошел впереди, смешно болтая на ходу руками, а она легкою походкой шла за ним. Соломенная шляпа с выцветшими лентами обратила на себя общее внимание самосадских ребятишек, которые тыкали на нее пальцами и говорили какие-то непонятные слова. Нюрочка боялась, что Вася догонит ее и прибьет, поэтому особенно торопливо семенила своими крошечными ножками в

прюнелевых ботинках. Они шли по береговой улице, мимо больших бревенчатых изб с высокими коньками, маленькими оконцами и шатровыми воротами. Около одной из таких изб Егор остановился, отворил калитку и пропустил девочку вперед.

– Иди сюда, деушка, – послышался в темноте крытого двора знакомый ласковый голос. – Не бойсь, голубушка, иди прямо.

Это была начетчица Таисья, которая иногда завертывала в господский дом на Ключевском. Она провела Нюрочку в избу, где у стола в синем косоклинном сарафане сидела худая и сердитая старуха.

– Здравайся с баушкой... здоровайся хорошенько... – шептала Таисья своим ласковым голосом и тихонько подталкивала девочку к неподвижно сидевшей старухе.

Нюрочке вдруг сделалось страшно: старуха так и впилась в нее своими темными, глубоко ввалившимися глазами. Вспомнив наказ Анфисы Егоровны, она хотела было поцеловать худую и морщинистую руку молчавшей старухи, но рука Таисьи заставила ее присесть и поклониться старухе в ноги.

– Говори: «здравствуй, баушка», – нашептывала старуха, поднимая опешившую девочку за плечи. – Ну, чего молчишь?

Старуха сделала какой-то знак головой, и Таисья торопливо увела Нюрочку за занавеску, которая шла от русской печи к окну. Те же ловкие руки, которые заставили ее кланяться бабушке в ноги, теперь быстро расплетали ее волосы, собранные в две косы.

– Ах, Нюрочка, Нюрочка, кто это тебя по бабьи-то чешет?.. – ворчала Таисья, переплетая волосы в одну косу. – У деушки одна коса бывает. Вот так!.. Не верти головкой, а то баушка рассердится...

Чтобы удобнее управиться с работой, Таисья поставила ее на лавку и только теперь заметила, что из-под желтенькой юбочки выставяются кружева панталон, – вот увидела бы баушка-то!.. Таисья торопливо сняла панталоны и спрятала их куда-то за пазуху. Девичья коса была готова, хотя Нюрочка едва крепилась от боли: постаравшаяся Таисья очень туго закрутила ей волосы на затылке. Все эти церемонии были проделаны так быстро, что девочка не успела даже подумать о сопротивлении, а только со страхом ждала момента, когда она будет целовать руку у сердитой бабушки.

Но последнего не пришлось делать. Старуха сама пришла за занавеску, взяла Нюрочку и долго смотрела ей в лицо, а потом вдруг принялась ее крестить и горько заплакала.

– Своя родная кровь, а половина-то басурманская... – шептала старуха, прижимая к себе внучку. – И назвали-то как: Нюрочка... Ты будешь, внучка, Аннушкой!

Старуха села на лавку, посадила внучку на колени и принялась ласкать ее с каким-то причитаньем. Таисья притащила откуда-то тарелку с пряниками и изюмом.

– Ах ты, моя ластовочка... ненаглядная... – шептала бабушка, жадно заглядывая на улыбающуюся девочку. – Привел господь увидеть внучку... спокойно умру теперь...

– Бабушка, вы о чем это плачете? – решила, наконец, спросить Нюрочка, преодолевая свой страх.

– От радости, милушка... от великой радости, ластовочка! Услышал господь мои старые слезы, привел внученьку на коленках покачать...

Таисья отвернулась лицом к печи и утирала слезы темным ситцевым передником.

V

– Папа, папа идет! – закричала Нюрочка, заслышав знакомые шаги в темных сенях, и прыгнула с коленей бабушки.

Старуха сейчас же приняла свой прежний суровый вид и осталась за занавеской. Выскокившая навстречу гостю Таисья сделала рукой какой-то таинственный знак и повела Мухина за занавеску, а Нюрочку оставила в избе у стола. Вид этой избы, полной далеких детских воспоминаний, заставил сильно забиться сердце Петра Елисеича. Войдя за занавеску, он поклонился и хотел обнять мать.

– В ноги, в ноги, басурман! – строго закричала на него старуха. – Позабыл порядок-то, как с родною матерью здороваться...

Услужливая Таисья заставила Мухина проделать эту раскольничью церемонию, как давеча Нюрочку, и старуха взяла сына за голову и, наклоняя ее к самому полу, шептала:

– В землю, в землю, дитятко... Не стыдись матери-то кланяться. Да скажи: прости, родимая маменька, меня, басурмана... Ну, говори!

– Мать, к чему это? – заговорил было Мухин, сконфуженный унижительною церемонией. – Неужели нельзя просто?

– А, так ты вот как с матерью-то разговариваешь!.. – застонала старуха, отталкивая сына. – Не надо, не надо... не ходи... Не хочешь матери покориться, басурман.

Мать и сын, наверное, опять разошлись бы, если бы не вмешалась начетчица, которая ловко, чисто по-бабьи сумела заговорить упрямую старуху.

– Ты как дочь-то держишь? – все еще ворчала старуха, напрасно стараясь унять расхажившее материнское сердце. – Она у тебя и войти в избу не умеет... волосы в две косы по-бабьи... Святое имя, и то на басурманский лад повернул.

– Прости его, баушка! – уговаривала Таисья. – Грешно сердиться.

– Басурманку-то свою похоронил? – пыталась старуха. – Сказала тогда, што не будет счастья без родительского благословения... Оно все так и вышло!

– Мать, опомнись, что ты говоришь? – застонал Мухин, хватаясь за голову. – Неужели тебя радует, что несчастная женщина умерла?.. Постыдись хоть той девочки, которая нас слушает!.. Мне так тяжело было идти к тебе, а ты опять за старое... Мать, бог нас рассудит!

– А зачем от старой веры отшатился? Зачем с бритосуами да табашниками водишься?.. Вот бог-то и нашел тебя и еще найдет.

– Будет вам грешить-то, – умоляла начетчица, схватив обоих за руки. – Перестаньте, ради Христа! Столько годов не видались, а тут вон какие разговоры подняли... Баушка, слышишь, перестань: тебе я говорю?

Строгий тон Таисьи вдруг точно придавил строгую старуху: она сразу размякла, как-то вся опустилась и тихо заплакала. Показав рукой за занавеску, она велела привести девочку и, обняв ее, проговорила упавшим голосом:

– Вот для нее, для Аннушки, прощаю тебя, Петр Елисеич... У ней еще безгрешная, ангельская душенька...

– Папа, и тебя заставляли в ноги кланяться? – шептала Нюрочка, прижимаясь к отцу. – Папа, ты плакал?

– Да, голубчик... от радости...

– И бабушка тоже от радости плачет?

– И бабушка от радости...

Примирение, наконец, состоялось, и Мухин почувствовал, точно у него гора с плеч свалилась. Мать он любил и уважал всегда, но эта ненависть старухи к его жене-басурманке ставила между ними непреодолимую преграду, – нужно было несчастной умереть, чтобы старуха

успокоилась. Эта последняя мысль отравляла те хорошие сыновние чувства, с какими Мухин переступал порог родной избы, а тут еще унижительная церемония земных поклонов, попреки в отступничестве и целый ряд мелких и ничтожных недоразумений. Старуха, конечно, не виновата, но он не мог войти сюда с чистою душой и искреннею радостью. Наконец, ему было просто совестно перед Нюрочкой, которая так умненько наблюдала за всем своими светлыми глазками.

– Пойдем теперь за стол, так гость будешь, – говорила старуха, поднимаясь с лавки. – Таисьюшка, уж ты похлопочи, а наша-то Дарья не сумеет ничего сделать. Простая баба, не с кого и взыскивать...

Егор с женой Дарьей уже ждали в избе. Мухин поздоровался со снохой и сел на лавку к столу. Таисья натащила откуда-то тарелок с пряниками, изюмом и конфетами, а Дарья поставила на стол только что испеченный пирог с рыбой. Появилась даже бутылка с наливкой.

– Не хлопочите, пожалуйста... – просил Мухин, стеснявшийся этим родственным угощением. – Я рад так посидеть и поговорить с вами.

Мухина смущало молчание Егора и Дарьи, которые не решались даже присесть.

– Не велики господа, и постоят, – заметила старуха, когда Мухин пригласил всех садиться. – Поешь-ка, Петр Елисеич, нашей каменской рыбки: для тебя и пирогстряпала своими руками.

Мухин внимательно оглядывал всю избу, которая оставалась все такую же, какую была сорок лет назад. Те же полаты, та же русская печь, тот же коник у двери, лавки, стол, выкрашенный в синюю краску, и в переднем углу полочка с старинными иконами. Над полатами висело то же ружье, с которым старик отец хаживал на медведя. Это было дрянное кремневое тульское ружье с самодельною березовою ложей; курок был привязан ремешками. Вся нехитрая обстановка крестьянской избы сохранилась до мельчайших подробностей, точно самое время не имело здесь своего разрушающего влияния.

– Ты, Егор, ходишь с ружьем? – спрашивал Мухин, когда разговор прервался.

– А так, в курене когда балуюсь...

– Ты его мне отдай, а я тебе подарю другое.

– Как матушка прикажет: ее воля, – покорно ответил Егор и переглянулся с женой.

– На што его тебе, ружье-то? – спрашивала старуха, недоверчиво глядя на сына.

– Так, на память об отце... А Егору я хорошее подарю, пистонное.

– Нет, уж пусть лучше это остается... Умру, тогда делите, как знаете.

Некрасивая Дарья, видимо, разделяла это мнение и ревниво поглядела на родительское ружье. Она была в ситцевом пестреньком сарафане и белой холщовой рубашке, голову повязывала коричневым старушечьим платком с зелеными и синими разводами.

– Я так сказал, матушка, – неловко оправдывался Мухин, поглядывая на часы. – У меня есть свои ружья.

В избу начали набиваться соседи, явившиеся посмотреть на басурмана: какие-то старухи, старики и ребяташки, которых Мухин никогда не видал и не помнил. Он ласково здоровался со всеми и спрашивал, чьи и где живут. Все его знали еще ребенком и теперь смотрели на него удивленными глазами.

– Как же, помним тебя, соколик, – шамкали старики. – Тоже, поди, наш самосадский. Еще когда ползунком был, так на улице с нашими ребятами играл, а потом в учебу ушел. Конечно, кому до чего господь разум откроет... Мать-то пыталась реветь да убиваться, как по покойнике отчитывала, а вот на старости господь привел старухе радость.

– Спасибо, что меня не забыли, старички, – благодарил Мухин. – Вот я и сам успел состариться...

Скоро изба была набита народом. Становилось душно. Нюрочка покраснелась и вытирала вспотевшее лицо платком. Мухин был недоволен, что эти чужие люди мешают ему пого-

ворить с глазу на глаз с матерью. Он скоро понял, что попался в ловушку, а все эти душевные разговоры служили только, по раскольничьему обычаю, прелюдией к некоторому сюрпризу. Пока старички разговаривали с дорогим гостем, остальные шушукались и всё поглядывали на дверь. Наконец, дверь распахнулась и в ней показалась приземистая и косолапая фигура здорового мужика. Все сразу замолкли и расступились. Мужик прошел в передний угол, истово положил поклон перед образами и, поклонившись в ноги Василисе Корниловне, проговорил заученным раскольничьим речитативом:

– Прости, мамынька, благослови, мамынька.

– Бог тебя простит, Мосеюшко, бог благословит, – с строгою ласковостью в голосе ответила старуха, довольная покорностью этого третьего сына.

– Здравствуй, родимый братец Петр Елисеич, – с деланным смирением заговорил Мосей, протягивая руку.

– Здравствуй, брат.

Братья обнялись и поцеловались из щеки в щеку, как требует обычай. Петр Елисеич поморщился, когда на него пахнуло от Мосея перегорелую водкой.

– Давно не видались... – бормотал Петр Елисеич. – Что ко мне не заглянешь на Ключевской завод, Мосей?

– Матушка не благословила, родимый мой... Мы по родительскому завету держимся. Я-то, значит, в курене роблю, в жигальях хожу, как покойник родитель. В лесу живу, родимый мой.

Эта встреча произвела на Петра Елисеича неприятное впечатление, хотя он и не видался с Мосеем несколько лет. По своей медвежьей фигуре Мосей напоминал отца, и старая Василиса Корниловна поэтому питала к Мосею особенную привязанность, хотя он и жил в отделе. Особенностью Мосея, кроме слащавого раскольничьего говора, было то, что он никогда не смотрел прямо в глаза, а куда-нибудь в угол. По тому, как отнеслись к Мосею набравшиеся в избу соседи, Петр Елисеич видел, что он на Самосадке играет какую-то роль.

– Садись, Мосеюшко, гость будешь, – приговаривала его мать.

– И то сяду, мамынька.

Егор с женой продолжали стоять, потому что при матери садиться не смели, хотя Егор был и старше Мосея.

– Так-то вот, родимый мой Петр Елисеич, – заговорил Мосей, подсаживаясь к брату. – Надо мне тебя было видеть, да все доступа не выходило. Есть у меня до тебя одно словечко... Уж ты не взыщи на нашей темноте, потому как мы народ, пряменько сказать, от пня.

– В чем дело? – спросил Петр Елисеич, чувствуя, что Мосей начинает его пытаться.

– Да дело не маленькое, родимый мой... Вот прошла теперь везде воля, значит, всем хрестьянам, а как насчет земляного положенья? Тебе это ближе знать...

– Пока ничего неизвестно, Мосей: я знаю не больше твоего... А потом, положение крестьян другое, чем приписанных к заводам людей.¹⁸

– Так, родимый мой... Конечно, мы люди темные, не понимаем. А только ты все-таки скажи мне, как это будет-то?... Теперь по Расее везде прошла по хрестьянам воля и везде вышла хрестьянская земля, кто, значит, чем владал: на, получай... Ежели, напримерно, оборотить это самое на нас: выйдет нам земля али нет?

Петру Елисеичу не хотелось вступать в разговоры с Мосеем, но так как он, видимо, являлся здесь представителем Самосадки, то пришлось подробно объяснять все, что Петр Елисеич знал об уставных грамотах и наделе земель бывших помещичьих крестьян. Старички теперь столпились вокруг всего стола и жадно ловили каждое слово, поглядывая на Мосея, – так ли, мол, Петр Елисеич говорит.

¹⁸ ...приписанных к заводам людей – так называли крестьян, прикрепленных царским правительством к заводам и фабрикам во время крепостного права.

– Ты все про других рассказываешь, родимый мой, – приставал Мосей, разглаживая свою бороду корявою, обожженной рукой. – А нам до себя... Мы тебя своим считаем, самосадским, так, значит, уж ты все обскажи нам, чтобы без сумления. Вот и старички послушают... Там заводы как хотят, а наша Самосадка допрежь заводов стояла. Прапрадеды жили на Каменке, когда о заводах и слыхом было не слышать... Наше дело совсем особенное. Родимый мой, ты уж для нас-то постарайся, чтобы воля вышла нам правильная...

В этих словах слышалось чисто раскольничье недоверие, которое возмущало Петра Елисеича больше всего: что ему скрывать, пока ни он, ни другие решительно ничего не знали? Приставанье Мосея просто начинало его бесить.

– Вот что, Мосей, – заговорил Петр Елисеич решительным тоном, – если ты хочешь потолковать, так заходи ко мне, а сейчас мне некогда...

– Так, родимый мой... Спасибо на добром слове, только все-таки ты уж сказал бы лучше... потому уж мы без сумления...

Слушавшие старички тоже принялись упрашивать, и Петр Елисеич очутился в пренеприятном положении. В избе поднялся страшный гвалт, и никто не хотел больше никого слушать. Теперь Петру Елисеичу приходилось отвечать зараз десятерым, и он только размахивал своим платком.

– Папа, мне неловко, – шепотом заявила Нюрочка.

– Ах, я про тебя и забыл, крошка... – спохватился Петр Елисеич. – Ты ступай к Самойлу Евтихычу, а я вот со старичками здесь потолкую...

– Я ее провожу, Петр Елисеич, – вызвалась начетчица Таисья.

– Скажи Самойлу Евтихычу, что я скоро приду, – говорил Петр Елисеич.

VI

Нюрочка была рада, что вырвалась из бабушкиной избы, и торопливо бежала вперед, так что начетчица едва поспевала за ней.

– Ишь быстроногая... – любовно повторяла Таисья, улепетывая за Нюрочкой. Таисье было под сорок лет, но ее восковое лицо все еще было красиво тою раскольничьею красотой, которая не знает износа. Неслышные, мягкие движения и полумонашеский костюм придавали строгую женственность всей фигуре. Яркие, строго сложенные губы говорили о неизжитом запасе застывших в этой начетчице сил.

– Таисья, я боюсь Васи... – проговорила Нюрочка, задерживая шаги. – Он меня прибьет...

– Полно, касаточка... – уговаривала ее Таисья. – Мы его сами за ухо поймаем, разбойника.

Порядок, по которому они шли, выходил на крутой берег р. Каменки и весь был уставлен такими крепкими, хорошими избами, благо лес под рукой, – сейчас за Каменкой начинался дремучий ельник, уходивший на сотни верст к северу. С улицы все избы были, по раскольничьему обычаю, начисто вымыты, и это придавало им веселый вид. Желтые бревна так и светились, как новые. Такие же мытые избы стояли и в Кержацком конце на Ключевском заводе, потому что там жили те же чистоплотные, как кошки, самосадские бабы. Раскольничья чистота резко выделялась среди мочеганской грязи.

Когда Таисья с Нюрочкой уже подходили к груздевскому дому, им попался Никитич, который вел свою Оленку за руку. Никитич был родной брат Таисье.

– Сестрица, родимая моя... – бормотал Никитич, снимая свой цилиндр.

– Кто празднику рад – до свету пьян, – ядовито заметила Таисья, здороваясь с братом кивком головы.

– Ах ты, святая душа на костылях!.. Да ежели, напримерно, я загулял? Теперь я прямо к Василисе Корниловне, потому хочу уважить сродственницу...

Оленка, красивая и глазастая девочка, одетая в сарафан из дешевенького ситца, со страхом смотрела на Таисью. Нюрочке очень хотелось подойти к ней и заговорить, но она боялась загулявшего Никитича.

– Зачем девчонку-то таскаешь за собой, путаная голова? – заворчала Таисья на Никитича и, схватив Оленку за руку, потащила ее за собой.

– Родимая... как же, напримерно, ежели я к бабушке Василисе?.. – бормотал Никитич, напрасно стараясь неверными шагами догнать сестру. – Отдай Оленку!

Таисья даже не обернулась, и Никитич махнул рукой, когда она с девочками скрылась в воротах груздевого дома. Он постоял на одном месте, побормотал что-то про себя и решительно не знал, что ему делать.

– Эй, берегись: замну!.. – крикнул над его ухом веселый голос, и верховая лошадь толкнула его мордой.

От толчка у Никитича полетел на землю цилиндр, так что он обругал проехавших двоих верховых уже вдогонку. Стоявшие за воротами кучер Семка и казачок Тишка громко хохотали над Никитичем.

– Ах, вы... да я вас... кто это проехал, а?..

– Это? А наши ключевские мочеганы...

– Н-но-о?

– Верно тебе говорим: лесообъездчик Макар да Терешка-казак. Вишь, пьяные едут, бороться хотят. Только самосадские уполощут их: вровень с землей сделают.

– Уполощут! – согласился Никитич. – Где же мочеганам с самосадскими на круг выходить... Ах, черти!..

– Известно, не от ума поехали: не сами, а водка едет... Макарка-то с лесобъездчиками-кержаками дружит, – ну, и надеется на защиту, а Терешка за ним дуром увязался.

– Ну, это еще кто кого... – проговорил детский голос за спиной Семки. – Как бы Макарка-то не унес у вас круг.

Это был Илюшка Рачитель, который пока жил у Груздева.

– Ах ты, мочеганин!.. – выругал его Никитич.

– Не лезь, коли тебя не трогают, – огрызнулся Илюшка.

Никитич хотел было схватить Илюшку за ухо, но тот ловко подставил ему ногу, и Никитич растянулся плашмя, как подгнившее с корня дерево.

– Ах ты, отродье Окулкино! – ругался Никитич, с трудом поднимаясь на ноги, а Илюшка уже был далеко.

Таисья провела обеих девочек куда-то наверх и здесь усадила их в ожидании обеда, а сама ушла на половину к Анфисе Егоровне, чтобы рассказать о состоявшемся примирении бабушки Василисы с басурманом. Девочки сначала оглядели друг друга, как попавшие в одну клетку зверьки, а потом первой заговорила Нюрочка:

– Тебе сколько лет, Оленка?

– Не знаю.

Оленка смотрела на Нюрочку испуганными глазами и готова была разреветься благим матом каждую минуту.

– Как же ты не знаешь? – удивилась Нюрочка. – Разве ты не учишься?

– Учусь... у тетки Таисьи азбуку учу.

– Ты ее боишься?

– Боюсь. Она ременную лестовкой хлещется... Все ее боятся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.